



ДАШКОВА

Ольга ЕЛИСЕЕВА



ВЕЛИКИЕ
ИСТОРИЧЕСКИЕ
ПЕРСОНЫ



Великие исторические персоны

Ольга Елисеева
Дашкова

«ВЕЧЕ»

Елисеева О. И.

Дашкова / О. И. Елисеева — «ВЕЧЕ», — (Великие исторические персоны)

ISBN 978-5-4444-7897-4

Героиня этой книги называла свою жизнь романом, правда, очень грустным. Исследователи часто обращали внимание на вторую часть утверждения, забывая о первой. Между тем биография Дашковой вмещает интриги, перевороты, скандалы, попытки политических убийств и огромную любовь. Любовь одной женщины к другой. По законам времени такое чувство не могло быть счастливым, но дало обильные государственные плоды. Читайте новую книгу известного историка и писателя Ольги Елисеевой о судьбе одной из самых спорных и удивительных фигур XVIII века.

ISBN 978-5-4444-7897-4

© Елисеева О. И.

© ВЕЧЕ

Содержание

Пролог	6
Глава 1. Одиночество	7
«Источник жгучих огорчений»	10
«Ничем не обязана»	13
«Превосходное образование»	16
«То требует твой род»	18
«Завишу душой и телом»	21
«Мы много потеряли»	24
«Новый мир»	26
Глава 2. Подруга	29
Sans ennui	31
«Сок из лимона»	33
Куртуазная любовь	36
Опасность	39
На английский манер	41
«Горячность в защиту истины»	43
Ночное randevu	45
«Бес, а не женщина»	48
«Как настоящий капрал»	50
«Порыв ревности»	52
«Революция недалеко»	55
Глава 3. Заговорщица	57
«Не надеюсь расплатиться с вами»	58
Кредит	60
«Объявляю себя лицом посторонним»	63
«Озеро нимф»	65
Свой круг	68
Пострадавшие	71
«Разумный план»	73
«Талант говорить дурное»	76
«Рыдая, как женщина»	79
Глава 4. Триумф	82
Летний сочельник	83
«Канальи»	87
Мундир	91
Амазонки	94
Соперник	97
Конец ознакомительного фрагмента.	100
Комментарии	

Ольга Игоревна Елисеева Дашкова

© Елисеева О.И., 2015

© ООО «Издательство «Вече», 2015

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2015

Сайт издательства www.veche.ru

Пролог

*Лжец добровольно лишается доверенности и почтения
людского, и права никогда на оные не имеет.*

Е.Р. Дашкова. Отрывок из записной книжки. 1790 г.

Тьмы низких истин мне дороже

Нас возвышающий обман.

А.С. Пушкин. Герой. 1830 г.

Комплиментов не будет. Личность Дашковой слишком масштабна, чтобы простое словословие в ее адрес помогло разобраться в сложившейся ситуации. Говоря о Екатерине Романовне, современники и последующие биографы сходятся, пожалуй, только в одном – это была женщина, достойная удивления. Всё остальное: характер, ум, душевные качества, вклад в историю и культуру России – вызывает споры.

Недаром гостившая у княгини в начале XIX в. молодая ирландка Кэтрин Уилмот (Вильмот) замечала: «Она настолько оригинальна и сложна, что результатом [характеристики] явится описание клубка противоречий человеческой натуры... Рассмотрение отдельных черт не даст никакого представления об их совокупности... Княгиня переменчива, как погода, в душе ее собраны воедино волнующиеся океаны и разрушительные огнедышащие вулканы, дикие пустыни и скалы... Ты можешь считать Европу раем, живя в Италии и полагая остальные страны подобными ей»^[1].

Кэтрин имела в виду, что к ним с сестрой Мартой хозяйка поворачивается самой ласковой, самой приятной стороной и гостям живет в московском дворце Дашковой припеваючи. Они словно в Италии. Но где-то есть и Сибирь...

Хрестоматиен отзыв А.Н. Герцена, публикатора «Записок» Екатерины Романовны: «Какая женщина! Какое сильное, богатое существование!»^[2] Но были и другие характеристики, среди которых «бой-баба с замашками принципессы», «скупяга»^[3] (так угощала бывшую подругу императрица) – еще не самая худшая. А.С. Пушкин, например, считал, что Дашкова стала президентом Академии наук «через постель» государыни^[4].

Но больше всех порезвились дипломаты. Для них княгиня была и героиней, и интриганкой, и любовницей графа Панина, и его дочерью, и участницей многочисленных заговоров против Екатерины II, и рукой, готовой вонзить кинжал в сердце Петра III. В противовес этой легенде возникла другая – жертва опалы и неверной дружбы сильных мира сего, женщина выше своего времени, верная супруга, нежная, просвещенная мать, мужественная заговорщица, бескорыстная патриотка, рачительная хозяйка, победившая долги и нищету.

Из столкновения этих двух взглядов родилась вся историография, посвященная княгине. Но читатель вправе спросить, где же сама Екатерина Романовна? В отзывах недоброжелательных критиков? Или в мемуарах, написанных как самооправдание? Не закрывают ли обе маски живое лицо? Ведь давно замечено, что истина находится отнюдь не посередине между версиями...

Глава 1. Одиночество

Девочка не знала, что ее хотят осчастливить, увозя в дом столичной родни, и горько плакала, расставаясь с бабушкой. Еще горше плакала «добрая старуха», из заботливых рук которой вырывали внучку – последнюю радость, кровиночку от умершей дочери. Для нее самой с этой минуты жизнь должна была кончиться.

Возок тронулся. Сгорбленная фигурка осталась за поворотом дороги. Четырехлетняя малютка осиротела во второй раз.

Больше Екатерина Романовна никогда не видела свою бабушку с материнской стороны. Ее ждали богатство, знатность, близость ко двору. Из темного захолустья дитя везли к свету – в самый европейский город России – Петербург.

Там было все. Здесь ничего. И тем не менее...

Пройдет много лет, и пожилая княгиня Дашкова будет со слезой в голосе вспоминать тот давний февральский день. Не смерть матери, которой она не помнила. А разлуку с единственным человеком, которому маленькая Катя была дороже жизни, который ее действительно любил.

В «Записках» наша героиня скупа: «Я имела несчастье потерять свою мать на втором году... Во время этого события я находилась у своей бабушки в одной из ее богатых деревень. С трудом она расставалась со мной, когда я была по четвертому году, чтоб отдать меня на воспитание в менее ласковые руки. Впрочем, мой дядя-канцлер вырвал меня из теплых объятий этой доброй старухи и стал воспитывать вместе со своей единственной дочерью»^[5].

Что стоит за строкой? Здесь и запоздалое признание в любви – ведь в четыре года не скажешь бабушке искренних, правильных слов – и скрытый упрек высокопоставленной родне, которая, конечно, позаботится о сироте, окружит ее роскошью, но не сердечным теплом. Сановный дядя слишком занят, тетя – легкомысленна. И оба увлечены собой. А потому, на первых порах жизни, простая, безграмотная старуха с нежным сердцем может дать ребенку больше всех сокровищ мира.

Мы обратили внимание на этот эпизод потому, что он кажется нехарактерным для «Записок» Дашковой – выламывается из них. Сколько раз читатель будет неприятно поражен высокомерными пассажами, в которых мемуаристка подчеркнет свою знатность, аристократическое происхождение, древность рода, семейную близость с августейшей фамилией.

«Императрица Елизавета... держала меня у купели, а моим крестным отцом был великий князь, впоследствии император Петр III. Оказанной мне императрицей чести я была обязана не столько ее родству с моим дядей, канцлером, женатым на двоюродной сестре государыни, сколько ее дружбе с моей матерью, которая с величайшей готовностью, деликатностью, скажу даже – великодушием снабжала императрицу деньгами в бытность ее великой княгиней, в царствование императрицы Анны, когда она была очень стеснена в средствах».

При этом мемуаристка «забыла» упомянуть имя матери, поскольку имелось сомнение: не из купцов ли та? Зато на первый план вышел род отца. «Не буду говорить о моей фамилии; ее старинное происхождение и выдающиеся заслуги моих предков так прославили имя графов Воронцовых, что им могли бы гордиться даже люди, гораздо более меня придающие значение знатности рода»^[6].

«Не буду говорить, Катилина, что ты вор, изменник и плут», как писал Цицерон, чьи речи против политического врага Дашкова, без сомнения, читала.

Беда в том, что особой знатностью до середины XVIII в. Воронцовы не отличались. Аристократией с выслуженным, а не родовым титулом они стали только со времен Елизаветы Петровны. В XVI столетии это была старинная дворянская семья с крепкими корнями, числившаяся, как тогда говорили, «по московскому списку»^[7]. При Иване Грозном, ее пред-

ставители получали высокие чины: окольного и боярина. Во время Ливонской войны упоминался воевода Семен Воронцов. Однако уже в первой четверти XVII в. отпрыски Воронцовых служили то стряпчими, то стрелецкими полковниками, и к началу XVIII в. род, как тогда говорили, захудал. Илларион Гаврилович – отец будущего канцлера – занимал чин стольника и, имея шестерых наследников, владел только двумя сотнями душ^[8]. Своего сына он пристроил пажом к царевне Елизавете, но двор «веселой Елисавет» при строгой Анне Иоанновне был беден, а саму будущую императрицу считали незаконнорожденной. Так что служить ей большой выгоды не было. Все изменилось после переворота 1741 г. В ту роковую ночь камер-юнкер Михаил Воронцов стоял на запятках саней своей повелительницы. После коронации он стал камергером, генерал-поручиком, получил звезду Св. Александра Невского, а в 1744 г. графское достоинство. Началось стремительное восхождение семьи по золотым ступеням. Вспоминается знаменитое Пушкинское замечание о «древних родах», которые восходят «от Петра и Елизаветы», при этом демонстрируя «спесь герцога Монморанси, первого христианского барона»^[9]. Именно это качество порой проявляла Екатерина Романовна.

Принадлежность к семейству Воронцовых – один из главных жизненных козырей княгини. Не случайно в «Записках» столичные аристократы заслоняют остальную родню. Ведь в прошлом главной героини все должно быть безупречно. С первых строк Екатерина Романовна упрямо лепила идеальный образ. И здесь высокое происхождение вместе с блестящим образованием станут залогом будущего права княгини вершить судьбу Отечества. Малейшая червоточина – и древо нельзя будет признать добрым. Его плоды станут горчить.

А потому помощь матери юной цесаревне Елизавете – достойный предмет для рассказа. А вот имя может быть опущено.

То же произойдет и с титулом. Дядя Дашковой стал графом в 1744 г. Отец же – только в 1760 г. Поэтому дочери Романа Илларионовича в первые годы жизни при дворе не имели права называться «графинями», но в угоду сильной родне их так именовали. Наша героиня раньше выйдет замуж и сделается княгиней, чем ее батюшка – графом. Тем не менее в письме к сыну Павлу по поводу его тайной женитьбы она скажет: «Когда ваш отец собирался жениться на графине Екатерине Воронцовой, он поехал в Москву испросить разрешение на то своей матери»^[10]. Таким образом, Екатерина Романовна задним числом припишет себе графский титул, считая его как бы неотъемлемым свойством рода.

Она будет гордиться чисто семейной близостью с августейшей фамилией. Эта черта ярко проявилась в ее ссоре с фаворитом Екатерины II – А.Д. Ланским. Молодой человек упрекнул княгиню за то, что в редактируемых Академией наук «Санкт-Петербургских ведомостях» после имени императрицы упомянуто только имя Екатерины Романовны. И получил гневную отповедь: «Милостивый государь, как ни велика честь обедать с государыней, но она меня не удивляет, так как с тех пор, как я вышла из младенческих лет, я ею пользовалась. Покойная императрица Елизавета... бывала у нас в доме каждую неделю, и я часто обедала у нее на коленях, а когда я могла сидеть на стуле, то обедала рядом с ней. Следовательно, я вряд ли стала бы печатать в газетах о преимуществе, к которому я привыкла с детства и которое мне принадлежит по праву рождения»^[11].

Камер-фурьерский журнал – официальный источник, фиксировавший внешнюю жизнь императрицы день за днем, час за часом – показал, что о «каждой неделе» речь не шла. За 12 лет, с 1747 по 1759 год, когда Екатерина Воронцова воспитывалась в доме дяди, Елизавета Петровна посещала своего вельможу 16 раз: чуть больше раза в год. Имя девушки за столом не названо^[12].

Позднее, в «Записках», княгиня специально оговорит, что после возвращения из-за границы в 1782 г. и до отставки в 1794 г. она дважды в неделю обедала у Екатерины II. И вновь

Камер-фурьерский журнал покажет иную картину: Дашкова бывала во дворце только по воскресеньям^[13].

Однако упорство, с которым княгиня настаивала на том, что «мой куверт всегда будет накрыт за этим столом», уже само по себе показательно. Она не забудет записать, что в итальянской опере закрытая ложа императрицы, «находилась рядом с нашей». Подобные сведения, старательно собранные и переданные читателю, представлялись нашей героине необычайно важными – приподнимавшими ее над обыденной жизнью, вырывавшими из толпы у подножия трона, ставившими рядом с монархом, превращавшими в наперсницу. Ими пожертвовать она не могла. Приведенные примеры свидетельствуют, что Екатерина Романовна обладала не только развитым честолюбием, но и заметным тщеславием.

И вдруг такая острая боль от разлуки с бабушкой – простой, незнатной старухой. Выходит, тепло и любовь, которые та могла дать сироте, были в глазах княгини более важными и более нужными, чем роскошь, утонченное воспитание и честь обедать на коленях у императрицы Елизаветы.

«Источник жгучих огорчений»

Екатерина Романовна родилась 17 марта 1743 г. Позднее она станет убавлять себе год и заявлять, будто появилась на свет в 1744-м. Этому не стоит удивляться. Многие ее современники путались с точной датой рождения, твердо зная только число и день недели, у Дашковой – четверг.

Сказалась и французская мода называть примерный возраст. Барон А.С. Строганов писал в 1758 г. о своей невесте Анне Михайловне Воронцовой, двоюродной сестре нашей героини: «Что же касается до той, которую я люблю, то ей 14 или 15 лет и ко всем качествам ея ума и красоты нужно присоединить еще и прекрасное воспитание»^[14]. Точно также и Екатерина Романовна готова была утверждать, что в момент знакомства с будущим мужем ей исполнилось четырнадцать или пятнадцать лет. Тут не было злого умысла. Она просто не знала точно.

Туманом недоговоренностей был покрыт и другой вопрос. Официальным отцом ребенка считался Роман Илларионович (Ларионович, как писали в то время) Воронцов, которому его супруга Марфа Ивановна, урожденная Сурмина, уже подарила троих детей: Александра, Марию, Елизавету – а через год подарит младшего сына Семена. Дочь Екатерина была четвертой. Супруг Марфы Ивановны «отличался разгульностью»^[15], а за ней самой ухаживал молодой дипломат Никита Иванович Панин. Его-то злые языки и называли настоящим отцом ребенка.

Таким образом, тень, лежавшая на младенце, с колыбели определяла его судьбу. Когда Марфа Ивановна скончалась¹, Роман Илларионович не затребовал сироту домой и не отправил к брату, как других дочерей, в которых был уверен. Малышку оставили у бабушки Федосьи Артемьевны – как бы подчеркивая, что других родных за ней пока не признают. Лишь через два года Екатерину все-таки забрали в Петербург, и то по настоянию дяди, а не по желанию отца.

Последний жил в свое удовольствие. «Мой отец, граф Роман, младший брат канцлера, был молод, любил жизнь, вследствие чего мало занимался нами, своими детьми, и был очень рад, когда мой дядя... взялся за мое воспитание»^[16]. Растратив значительную долю драгоценностей покойной супруги на любовниц, Роман Илларионович, наконец, успокоился с английской содержанкой Элизабет Брокет, которую теперь величали Елизаветой Денисьевной².

Более основательный Михаил Илларионович заботился о детях двоюродного брата, как мог. Свою единственную дочь Анну Михайловну и двух племянниц Марию и Елизавету он определил ко двору фрейлинами. Но младшая Екатерина не удостоилась этой чести. Возможно, ее обошли фрейлинским шифром по той же причине, по которой прежде оставили у бабушки. Не здесь ли корни болезненного честолюбия, в котором часто упрекали княгиню? Ведь первая рана оставляет глубокий след. Того обостренного внимания, которое Екатерина Романовна уделяла своему положению рядом с августейшими особами? Того искреннего гнева, который княгиня испытывала при малейшей, даже мнимой, попытке отодвинуть ее в сторону, обойти в наградах, не оценить заслуг, не заплатить за преданность?

«Невинные» впечатления детства порой куда сильнее царапают душу, чем дальнейшие горести, пришедшие к уже закаленному и очерстлевшему человеку. Девушку посчи-

¹ Мать Дашковой умерла 27 лет от роду. Глядя на ее портрет кисти неизвестного художника, изображающий полную миловидную даму в чепце, трудно поверить, что той нет и 30. По современным меркам, ей сильно за сорок. Однако тогда женщины и взросли, и увядали раньше.

² Вспомним забавный эпизод из «Отцов и детей» И.А. Тургенева, где служанка «эмансипе» Кукшиной ходила в чепце, а не в платке, что указывало на прогрессивные вкусы хозяйки. За век до этого любовница-англичанка символизировала европейские предпочтения вельможи-покровителя.

тали неудобным определить ко двору. В Камер-фурьерских журналах времен Елизаветы Петровны нет упоминаний о Дашковой, хотя страницы пестрят именами ее сестер, кузины, тетки Анны Карловны и, конечно, дяди вице-канцлера. Несколько раз встретится отец – 3 марта 1748 г. он будет награжден орденом Св. Анны, а 25 декабря 1755 г. станет генерал-поручиком^[17].

Старший брат княгини Александр Романович вспоминал, как часто его возили на представления придворного театра. Вместе с другими отпрысками служивших при дворе особ императрица приглашала Александра на особые детские балы в ее апартаментах. Там танцевало от 60 до 80 мальчиков и девочек, пока родители ужинали в обществе Елизаветы Петровны^[18]. Дашкова не бывала ни на спектаклях, ни на маленьких праздниках.

Особенно красноречива ситуация со свадьбами – важным придворным действием. 15 февраля 1758 г. состоялось венчание камер-юнкера Петра Бутурилина и старшей сестры нашей героини – фрейлины Марии Романовны Воронцовой. А через три дня – камер-юнкера барона Александра Строганова и фрейлины Анны Михайловны Воронцовой. «Ближней девицей» невест в обоих случаях стала Елизавета Романовна, к тому времени уже фаворитка наследника Петра Федоровича. Ее младшая сестра Екатерина ни на одном из торжеств не присутствовала^[19].

Где же она была? Дома за печкой? Такое положение, если и соответствовало действительности, то никак не годилось для мемуаров. И Екатерина Романовна заставляет императрицу часто навещать дом Михаила Илларионовича, милостиво, по-семейному, разговаривать с его младшей племянницей, а позднее соучаствовать в сватовстве князя Дашкова. То есть присваивает внимание августейшей особы, на самом деле оказываемое ее сестрам.

Имелась еще одна трещина в скорлупе золотого яичка, каким для каждого ребенка должна быть семья. Брак родителей, говоря со строго христианской точки зрения, не был вполне законным. Молодая ирландская компаньонка княгини Марта Уилмот (Вильмот) в 1808 г. записала историю, которую сама престарелая Екатерина Романовна не захотела включать в мемуары: «Госпожа Сурмина, чье состояние составляло очень большую сумму, еще девочкой была выдана замуж за князя Юрия Долгорукова. Вскоре после этого семья Долгоруковых попала в опалу, и императрица Анна [Иоанновна] приговорила князя к пожизненному изгнанию в Сибирь. Мать Сурминой... бросилась к ногам императрицы, умоляя разрешить развод дочери, получила разрешение и через несколько месяцев³ выдала ее замуж за графа Романа Воронцова»^[20]. После возвращения из ссылки в 1741 г. Долгоруковы встретились с Воронцовыми. Бывшие супруги узнали друг друга и «были чрезвычайно смущены», но ни о каком «возвращении к старому» речи уже идти не могло. Тем более что Марфа Ивановна для получения развода написала на высочайшее имя прошение, в котором заявляла несогласие с «образом мыслей» мужа^[21].

Почему такой колоритный случай не попал на страницы «Записок»? Ведь он отчасти обелял мадемуазель Сурмину, создавая между нею и аристократическим семейством Воронцовых своего рода трамплин – Роман женился не на купеческой дочке⁴, а на княгине Долгорукой (Долгоруковой). Каково ее собственное происхождение, уже не столь важно – ведь и сама Елизавета Петровна не без пятнышка. В первые десятилетия после петровского царствования браки представителей разных сословий не были редкостью. Поиздержавшаяся знать женила своих отпрысков на купчихах. Да и позднее эта традиция не ушла в прошлое,

³ Уточним, что Долгоруковых сослали в 1731 г., когда Марфе Ивановне было всего 13 лет. Новый брак мать сумела устроить ей только в 1736 г.

⁴ В среде исследователей существует и другое мнение, согласно которому отец Марфы Сурминой – Иван Михайлович имел поместья под Костромой, служил конюшим Патриаршего приказа, носил чин стольника, владел деревнями и торговал в разных городах. Позднее Дашкова напишет, что отец ее невестки Алферовой был «облагорожен чинами». Полагаем, нечто подобное произошло и с Сурминым.

а вот к разводу стали относиться куда строже. Если раньше, во времена Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны, одного слова государыни было достаточно для расторжения брака, то уже Екатерина II сознательно устранилась от вмешательства в семейные дела и оставляла Синоду его неотъемлемое право судить неполадивших супругов. Позволение на развод стало крайней редкостью. С этим столкнулась двоюродная сестра Дашковой – Анна Михайловна Строганова, чей брак оказался неудачным, а дело о разводе тянулось так долго, что бедняжка успела зачать.

К началу XIX в. в русском обществе уже решительно осуждали женитьбу на разведенной. Тем большему остракизму подвергся бы союз без формального церковного расторжения предыдущего брака. Вот Екатерина Романовна и промолчала. Вторичный брак в религиозных семьях вообще считался грехом, тяжесть которого ложилась на детей. Например, Наталья Борисовна Долгорукая (Долгорукова), урожденная Шереметева, дочь фельд-маршала, составляя «своеручные записки»^[22], озвучила именно такой, чисто средневековый, взгляд на свою судьбу. Ее отец Борис Петрович после смерти первой жены собирался в монастырь, а вышел от царя Петра I, держа за руку новую нареченную. За нечестье родителей должен был отстрадать их единственный ребенок, и Бог послал Наталье очень короткое счастье с любимым князем Иваном Долгоруким и долгие мытарства, бедность, вдовью долю и, наконец, успокоил в келье Флоровского монастыря в Киеве инокиней Нектарией⁵.

За поколение до нашей героини даже очень образованные представители русской аристократии смотрели на себя и свое место в мире, исходя из строгих православных представлений. Осознание грехов, в том числе и грехов родителей, примиряло людей с собственными страданиями.

Но Екатерина Романовна была уже человеком Нового времени. Личностью, готовой предъявить Богу свой счет обид. Ее смирение – чувство особого рода – она не жила с ним, а долго шла к нему. Впадая то в гордыню, то в отчаяние. Дошла ли?

В «Записках» нет. Но, к счастью, после окончания рукописи Мартой Уилмот в 1804 г. (по другим данным, в 1807 г.) у Екатерины Романовны оставалась еще горсточка лет. Еще несколько последних шагов в полном одиночестве. Как бы ни загораживала героиня мемуаров реальную Дашкову, как бы ни слипалась с ней, порой становясь исследователям дорожке настоящей, есть надежда, что живой человек в нравственном отношении больше персонажа воспоминаний. Все, что мы можем найти на страницах – легкие отпечатки его души.

⁵ «Записки» Н.Б. Долгорукой были созданы в 1767 г. К началу XIX в., когда шла работа над мемуарами самой Дашковой, этот источник ходил в списках. Поступок Натальи Борисовны, последовавшей за мужем в ссылку в Березов, вызывал восхищение читающей публики. Недаром позднее Н.А. Некрасов в поэме «Русские женщины» поставит ее на одну доску с женами декабристов, сделав символом жертвенной супружеской любви. Возможно, Дашкова опустила историю брака родителей, чтобы избежать невыгодного для матери сравнения.

«Ничем не обязана»

Мысль о своей зависимости от близких, видимо, причиняла княгине боль, уязвляла самолюбие. Уже после переворота 1762 г. дядя Михаил Илларионович в письмах к племянникам сетовал на неблагодарность воспитанницы. Сама Екатерина Романовна с раздражением написала брату, что «ничем не обязана» родне. И получила гневную отповедь молодого дипломата: «Вы благоразумно поступаете, желая уменьшить достоинство благодарности... Всем известны заботы дяди и тетки о вашем воспитании и об устройстве вашей судьбы»^[23].

В те времена было принято, чтобы родня, земляки, старые сослуживцы отправляли кого-то из своих многочисленных детей воспитываться в семье столичных благодетелей. В Москву и Петербург. Там проще было найти педагогов, имелись высшие учебные заведения, молодые люди обзаводились нужными знакомствами, приискивали место будущей службы, а девушки могли кому-нибудь приглянуться.

Уже в следующем столетии А.С. Пушкин попробовал воссоздать особый психологический тип – девушки-воспитанницы. Осенью 1829 г. в отрывке «Роман в письмах» он вывел героиню Лизу: «Зависимость моего положения была всегда мне тягостна. Конечно Авдотья Андреевна воспитывала меня на равне с своею племянницею. Но в ее доме я все же была воспитанница, а ты не можешь вообразить, как много мелочных горестей неразлучны с этим званием. Многое должна была я сносить, во многом уступать, многого не видеть, между тем как мое самолюбие прилежно замечало малейший оттенок небрежения. Самое равенство мое с княжною было мне в тягость. Когда являлись мы на бале, одетые одинаково, я досадовала, не видя на ее шее жемчугов. Я чувствовала, что она не носила их для того только, чтоб не отличаться от меня, и эта внимательность уж оскорбляла меня... Сердце мое, от природы нежное, час от часу более ожесточалось. Заметила ли ты, что все девушки, состоящие на правах воспитанниц... обыкновенно бывают или низкие служанки, или несносные причудницы? Последних я уважаю и извиняю от всего сердца».

Даже богатые девушки, попав на воспитание к родным, могли чувствовать себя уязвленными. Маленькой Екатерине казалось, что близкие на самом деле равнодушны к ней, несмотря на внешние проявления заботы, что искренней привязанности в них нет. «С раннего детства я жаждала любви окружающих меня людей, – писала она, – и хотела заинтересовать собой моих близких, но когда в возрасте тринадцати лет мне стало казаться, что мечта моя не осуществляется, мною овладело чувство одиночества... При первых признаках кори меня отправили в деревню, за семнадцать верст от Петербурга... Глубокая меланхолия, размышление над собой и над близкими мне людьми изменили мой живой, веселый и даже насмешливый ум... Я начала сознавать, что одиночество не всегда бывает тягостно».

Суетность родных, которые услали больного ребенка в деревню, лишь бы не лишиться права посещать двор, очевидна. Елизавета Петровна была очень мнительна: боялась покойников и при малейшем подозрении на нездоровье приказывала отсылать приближенных из резиденции. Поэтому вице-канцлер с супругой действовали в отношении племянницы строго в соответствии с «придворной грамматикой». Но, конечно, не в соответствии с христианскими добродетелями.

Упомянутая в «Записках» корь – первый рубежный момент в развитии личности мемуаристки. Недаром она настаивала, что эта «случайность» «сделала из меня ту женщину, которою я стала впоследствии». То есть читающую и размышляющую над прочитанным. Но не только. Девочка впервые по-настоящему осознала: она одна, и никому, в сущности, нет до нее дела.

Беспрерывное ночное чтение подрывало здоровье. Екатерину Романовну осаждали вопросами, не происходит ли ее болезненный вид от сердечной тайны: «Я не дала на них

искреннего ответа, тем более что мне пришлось бы признаться в своей гордости, уязвленном самолюбии и раскрыть принятое мною самонадеянное решение собственными силами добиться всего»^[24].

В «Записках» болезнь и вынужденная «ссылка» в имение под Петербургом относятся к 1756 г., поскольку княгиня сама назвала свой возраст – тринадцать лет. Но есть основания сдвинуть дату на более позднее время. Дашкова писала: «Мой брат Александр уехал в Париж еще до моего возвращения в город. С его отъездом я лишилась человека, который своею нежностью мог бы залечить раны, нанесенные моему сердцу окружающим меня равнодушием».

Александр Романович, которого сестра выделяла из всей семьи – «я лишь его одного знала с детства; мы с ним часто виделись, между нами с раннего возраста возникла привязанность» – начал службу в Измайловском полку, а в 1758 г. был отправлен дядей в рейтарскую школу Шево-Лежер в Версале. Вице-канцлер выступил одним из деятельнейших сторонников русско-французского союза, и определение его племянника на учебу во Францию стало знаком благодарности Людовика XV.

Таким образом, описанные Екатериной Романовной события относились не к 1756-му, а к 1758 г. И чувство одиночества, равнодушия родных возникло у девушки неслучайно. Оно оказалось спровоцировано февральскими свадьбами сестры и кузины⁶, на которых наша героиня не присутствовала, вероятно, из-за кори.

Возникает вопрос: неужели нельзя было подождать с венчаниями до выздоровления младшей мадемуазель Воронцовой? Но нет, родня посчитала это ненужным. Жених – как раз тот волк, который может убежать в лес. А если Катя не поправится? (По тем временам корь – болезнь опасная, с горячкой.) Тогда придется пережить еще и траур. Между тем императрица Елизавета именно сейчас выделяет деньги на свадьбы – четыре тысячи рублей^[25]. Кто знает, согласится ли она на подобную милость через пару месяцев? Будут ли у нее средства? Ведь идет война с Пруссией.

Эти доводы следует признать весьма «резонабельными», как тогда говорили. Но и ощущение брошенности возникло у нашей героини не на пустом месте. «Если бы кто-нибудь мог бы тогда предсказать мне страдания, ожидавшие меня, я бы положила конец своему существованию: у меня уже появилось предчувствие, предсказывавшее мне, что я буду несчастна». Самой княгине эти мысли казались чем-то вроде предвидения. Но, примерив их на возраст и обстоятельства, следует сделать вывод, что героиня переживала жестокую подростковую депрессию – даже призрак самоубийства посещал ее.

Девушке пора было замуж, а судьба пока не складывалась. Что казалось особенно больно на фоне счастливых сестер – Марии и Анны. Последняя была младше нашей героини на месяц, однако носила фрейлинский шифр, и сама императрица приискала ей партию. Приглядимся к списку предметов, пожалованных Елизаветой Петровной в приданое фрейлинам Воронцовым. Здесь и парчовые юбки с робами, шитые золотой и серебряной нитью, и епанчи на собольем меху, и дорогие ткани: штоф, люстрин, тафта, канель – кровати под балдахинами с позументом, голубые французские обои и занавески в спальню, красное сукно на пол. А сверх того денег на обзаведение. По отцу и дочери честь. Анна Михайловна получила даров на сумму 25 тыс. 45 руб. 93 коп. А Мария Романовна вдвое меньше – 11 тыс. 541 руб. 86 коп.^[26]

Когда сама Екатерина Романовна выйдет замуж, высочайших пожалований не будет, ведь она не состояла при дворе. К тому же заболит тетка Анна Карловна, свадьбу придется

⁶ Согласно Камер-фурьерскому журналу за 1758 г. эти свадьбы произошли 15 и 18 февраля. А вот в расходной ведомости, поднесенной Елизавете Петровне год спустя, указано: кузины венчались в один день 12 февраля, на что императрица выделила 4000 рублей. Возможно, находившийся тогда в стесненном финансовом положении канцлер сумел одним махом сыграть обе свадьбы, что было в духе Воронцовых – несметно богатых и постоянно жаловавшихся на бедность.

откладывать и в конце концов справить «без малейшего блеска». Эти слова мемуаристки звучат как упрек, но, не зная предыстории со свадьбами сестры и кузины, читатель не догадывается, в чем княгиня обвиняет родных – болезнь не зависит от злой воли человека. Однако у девушки были причины негодовать: из-за ее кори никто не стал беспокоиться, а она должна ждать, терпеть и полагаться только на щедрость отца и дяди. Как оказалось, весьма сомнительную. К ней приданое не придет из августейших рук.

Поэтому-то в «Записках» милостивое отношение Елизаветы Петровны будет подчеркнуто иными средствами. Болезненный вид девушки беспокоит именно императрицу, и она пришлет к ней Германа Бургава – не простого лейб-медика, а главу целого конклава врачей, служивших при дворе. Последний сделает в целом правильное заключение: физически племянница вице-канцлера здорова, но ее подавленность вызвана «сердечной заботой». Т. е. психологическим состоянием. Родные кинулись искать предмет тайной страсти. Им и в голову не пришло, что Екатерина Романовна чахнет как раз от отсутствия любви. Что чтением она побеждает пустоту. Занимает ум, пока сердце свободно⁷.

⁷ В октябре 1762 г. старшая сестра нашей героини Елизавета, пережив страшные потрясения во время переворота и лишившись Петра III, накупит в книжной лавке французских романов на двести рублей. Стараясь избавиться от тяжелых мыслей, она погрузится в чтение, утонет в нем. Значит, не так уж непохожи были две «Романовны», только одна в качестве спасения выбирала серьезные философские книги, а другая – что попроще.

«Превосходное образование»

К 15 годам в душе Екатерины уже пробуждалось убеждение, что умственно и нравственно она далеко превосходит очаровательных трещоток из окружения императрицы, дам своего круга, да и вообще свой пол. Угораздило же ее родиться женщиной! Ведь она интересовалась совсем неподходящей литературой. «Любимыми моими авторами были Бейль, Монтескье, Вольтер и Буало».

Брат нашей героини Александр свидетельствовал, что отец выписал для детей «из Голландии очень хорошо составленную библиотеку», в которую входили сочинения Вольтера, Расина, Корнеля, Буало. «Я обнаружил решительную склонность к чтению, – вспоминал граф, – так что в 12 лет я был знаком с... французскими писателями»^[27]. После отъезда Александра эти сокровища оказались в полном распоряжении его сестры. Частью из них она составит и собственную библиотеку, которую существенно пополнит закупками в лавках Петербурга и Москвы.

У дяди тоже имелась библиотека, которую он целиком приобрел в 1753 г. во время заграничного путешествия^[28]. Через три года, когда в тайне готовилось подписание русско-французского договора, в дом вице-канцлера прибыл в качестве библиотекаря резидент Шарль д'Эон де Бомон, позднее ставший секретарем французского посольства^[29]. Въезжая в Россию, шевалье назвался «писателем и философом», направляющимся в Петербург, чтоб служить у графа Воронцова. Однако, попав на место, д'Эон понял, что его «легенда» терпит крах. Он в панике писал парижскому начальству, что книг в доме Воронцова очень мало и что, отправляясь в Россию библиотекарем, ему, по крайней мере, стоило бы прихватить с собой из Парижа свою библиотеку^[30].

А вот Екатерине Романовне собрание дяди вовсе не казалось бедным. Кто же прав? Истина в том, что «много книг» в понимании петербургской барышни и парижского адвоката, доктора права Сорбоннского университета – разные вещи. Шевалье оставил дома «забитую книгами комнату и еще шесть сундуков». Несколько полок, обнаружившиеся у русского вельможи, его не впечатлили.

Однако накопление родовых книжных богатств в императорской России еще только начиналось. Если старшие Воронцовы – Михаил и Роман – покупали за границей уже готовые коллекции, то младшие – Александр, Екатерина и Семен – будут именно собирать библиотеки, рыться в лавках, просматривать каталоги, искать редкости. Даже оспаривать издания друг у друга. «Что касается книг, то мне оные очень нужны, – писал в 1764 г. из Вены отцу Семен Воронцов, – а те, которые в России у меня остались, совсем разорены по милости княгини Дашковой... из шести сот и пятьдесят цельных не найдется»^[31].

Когда в 1759 г. Екатерина Романовна отправится в Москву, она увезет с собой 900 томов, чтобы не скучать. А уже к концу века ее московская библиотека составит четыре с половиной тысячи книг на шести языках, опись которых будет простираться на 50 страниц^[32].

Вкус к интеллектуальному пиршеству был привит детям в доме, где сами хозяева еще не слишком понимали, чем книги отличаются от обоев, но покорялись иностранной моде. Вице-канцлер дал племянникам лучшее из того, что можно было получить в Петербурге. «Мой дядя не жалел денег на учителей – писала Дашкова, – и мы – по своему времени – получили превосходное образование: мы говорили на четырех языках, и в особенности владела отлично французским; хорошо танцевали; умели рисовать... У нас были изысканные и любезные манеры, и потому не мудрено было, что мы слыли за отлично воспитанных девиц. Но что же было сделано для развития нашего ума и сердца? Ровно ничего». Только болезнь

и одиночество заставили девушку задуматься о вещах более глубоких, чем танцы. «Я стала прилежной, серьезной, говорила мало, всегда обдуманно... Ум мой зрел и укреплялся»^[33].

По инерции многие исследователи продолжают именовать домашнее образование княгини «блестящим». Хотя сама Екатерина Романовна была от него не в восторге. В 1776 г., когда Дашкова находилась в Англии, заместитель министра юстиции Александр Уэддерберн писал своему другу Уильяму Робертсону, ректору Эдинбургского университета, где предстояло воспитываться сыну княгини: «Хотя она не очень хорошо говорит по-английски, она понимает этот язык прекрасно и беседует на нем без особого смущения... Она имеет очень сильный ум, который начала развивать немного поздно и самостоятельно, следовательно, вы должны ожидать встретить в нем некоторую неотделанность»^[34].

Итак, на ученых мужей в Англии образованность Дашковой производила не то впечатление, на которое, быть может, рассчитывала сама княгиня. Домашнее обучение у дяди – достаточное, если не сказать избыточное для сестер – стало для Екатерины Романовны только первой ступенью, без которой дальнейшее получение знаний невозможно. Особенно если учесть, что любителя просвещения окружало море иностранных книг, среди которых ручеек русских был почти незаметен. А потому знание европейских языков – ключ от мира.

Знакомство же с родным – интеллектуальная прихоть. Старший брат Екатерины Романовны – Александр писал о своем воспитании: «Главное его достоинство в том, что в то время не пренебрегали изучением русского языка». И сетовал далее: «Россия – единственная страна, где пренебрегают изучением родного языка ... Те жители Петербурга и Москвы, которые считают себя просвещенными, заботятся и о том, чтоб их дети знали и французский язык, окружают их иностранцами, дают им хорошо стоящих учителей танцев и музыки, но не учат их родному языку, так что это прекрасное и дорогостоящее воспитание ведет к совершенному незнанию Родины, и к равнодушию и даже презрению к стране, с которой неразрывно связано наше существование»^[35].

Как видим, незнание родного языка к середине XVIII в. уже тяготило молодое поколение образованных русских. После Петра Великого легкомысленные «елизаветинцы» даже не задумывались о том, что их детям может не хватить «жмыха» от европейских знаний. Ведь они сами поглощали эту пищу едва ли не со священным трепетом. Но подступало иное время, и на пороге нового великого царствования многие представители образованного сословия захотели чувствовать себя не только европейцами, но и русскими. То есть знать язык.

Это было жизненно важно для их самоидентификации. «Самостояния», как скажет А.С. Пушкин. Молодые Воронцовы по собственному желанию попытались изучать русский. Екатерина с кузиной Анной до 1756 г. брала уроки у надворного советника Федора Дмитриевича Бехтеева. Этих знаний оказалось недостаточно. Выйдя замуж и отправившись в Москву, молодая княгиня попала не просто в «новый мир», а в иную языковую среду. «Меня смущало и то обстоятельство, что я довольно плохо изъяснялась по-русски, а моя свекровь не знала ни одного иностранного языка. Ее родня состояла все из стариков и старушек, которые относились ко мне очень снисходительно... но я все-таки чувствовала, что они желали бы видеть во мне москвичку и считали меня почти чужестранкой. Я решила заняться русским языком и вскоре сделала большие успехи»^[36].

Позднее главным трудом Екатерины Романовны стало составление «Словаря Академии Российской». Едва ли она смогла бы руководить этой грандиозной работой, если бы в юности не испытала мук немоты и глухоты иностранца в чужой стране.

«То требует твой род»

Неудивительно, что молодые Воронцовы рано попробовали свои силы в переводах. За два года до поездки в Париж Александр опубликовал в журнале Ф.-Г. Миллера «Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие» переводы философских повестей Вольтера «Микромегас» и «Мемнон, желающий быть совершенно разумным». Первая из них могла бы показаться научной фантастикой. Двое инопланетян с Сириуса и Сатурна по мосту, образованному северным сиянием, спускаются на «наш шар». Собственный рост пришельцев очень высок, поэтому люди кажутся им мыслящими песчинками.

Сам по себе сюжет уже способен увлечь подростка, но, в отличие от современного читателя, люди эпохи Просвещения ценили назидательность и притчевый строй литературы. С ужасом обитатели иных миров узнают, что их новые знакомые ведут кровопролитные войны, и убеждены, будто вселенная создана исключительно для них. Чтобы рассказать землянам, как на самом деле устроен мир, Микромегас написал трактат, стараясь выводить буквы очень мелко. Но и они оказались слишком велики для несовершенного человеческого зрения, и книгу никто не смог прочесть. Сам собой напрашивался вывод: люди еще не доросли до высоких истин, они не только не могут дойти до них своим умом, но и получить в готовом виде⁸.

«Мемноном», ищущим разума, молодой человек мог бы назвать и самого себя. Недавно в ответ юному аристократу М.В. Ломоносов написал стихотворное «Письмо г. В...»^[37], в котором призывал племянника вице-канцлера:

*Время провождать в приятнейших трудах
И славу приобрести во всех земных странах...
И облегчись принять приятнейшее бремя.
То требует твой род, то требует и время.
...*

Эти строки содержали прямой намек на уже намеченное путешествие молодого человека в Европу. Для России, наконец, настало время отложить бранный меч и посвятить себя наукам^[38]. Первыми на этом пути должны оказаться молодые аристократы, для которых в силу происхождения, были открыты все дороги. «То требует твой род»...

То же самое могла сказать о себе и Екатерина Романовна. Из библиотечных сокровищ, найденных у дяди, ее особенно увлекла книга Клода-Адриана Гельвеция «Об уме», вышедшая в 1758 г. и уже вскоре сожженная в Париже по приговору парламента. Рассуждения автора о равенстве умственных способностей людей, независимо от происхождения, показали властям слишком смелыми. Сам собой напрашивался вывод, что управлять народом может любой достаточно умный человек. Пожилая княгиня отозвалась о книге с осторожностью: «Я пришла к заключению, что... она могла бы нарушить гармонию и порвать цепь, связующие все столь разнородные, составляющие государственность»^[39] начала. Но в юности наша героиня была от Гельвеция в восторге и даже взялась переводить его труд. Однако из-за плохого знания русского языка работу пришлось остановить.

Предположение, будто Екатерину Романовну подвело слабое знакомство с философской терминологией, не совсем верно. Подобная лексика еще только развивалась. Переводы

⁸ А.Р. Воронцов опубликовал в «Ежемесячных сочинениях» за 1756 г. еще несколько переводов анонимных французских авторов: «Рассуждение о приятностях сообщества», «Разговор между Рассуждением и Воображением», «Содержание письма другу в ответ, может ли честь сравниться со славою». Все они были подписаны полной фамилией или инициалами «А.В.».

стали тем полем, на котором опробовались и укреплялись новые понятия. Русский язык учился выражать мысли, которые прежде не обсуждались на нем. В 1762 г. новый император Петр III направит в Сенат кодекс Фридриха II, приказав руководствоваться им при решении дел. Однако переводчики не смогут как следует передать мысли прусского короля из-за бедности русской юридической терминологии^[40]. Понадобятся три с лишним десятилетия развития отечественной законодательной культуры при Екатерине II, чтобы соответствующий словарь вошел в употребление. То же самое происходило и в других областях знания. Много позже, занимаясь «Словарем Академии Российской», Дашкова взвалит на свои плечи работу по поиску в родном языке подходящих понятий. А пока ей просто не хватало слов.

Похожее чувство испытал и второй брат нашей героини – Семен. В 1760 г. он обнаружил в библиотеке К.Г. Разумовского одну из популярнейших книг эпохи «О духе законов» Шарля-Луи Монтескье. С восторгом Семен писал отцу: «Тут все натуральные права изъяснены. Эта книга всякого человека сделает просвещенным и обо всем генерально даст понятие. Как она ни велика, однако бы я ее перевел в Петербурге, ежели б был сильнее в русском»^[41]. Младшие Воронцовы упирались в одну и ту же проблему – хорошее знание родного языка. А старший имел все основания благодарить отца и дядю за образование, полученное дома.

Обратим внимание на разные показания сестры и брата Воронцовых. Александр хвалил свое воспитание именно за уроки родного языка. Екатерина была вынуждена учиться сама. Старшему отпрыску Роман Илларионович выписал гувернантку из Берлина. На дочь – внимания не обращал. Михаил Илларионович, которому Дашкова не хотела признать себя обязанной, под пером племянника превращается в доброго ангела-хранителя: «Мой дядя очень интересовался мною, и всем, что касалось моего образования, и я могу сказать, что в этом отношении он был для меня настоящий отец»^[42].

А ведь речь об одной и той же семье. Неужели кому-то из детей доставался пирог, а кому-то крошки со стола? Не верится, если учесть, что вице-канцлер растил и учил племянницу вместе с дочерью. С неподдельной досадой, как пушкинская Лиза жемчуг, будущая княгиня упоминала «платья из одного куска материи», которые шились для нее и кузины и которые должны были сделать их одинаковыми. Не тут-то было: «трудно отыскать натуры более разные». Не помогли ни «общие комнаты», ни «одни и те же учителя». Не походить на Анну, вероятно, значило для кузины утвердить собственную личность. Она не желала превращаться в «низкую служанку», хотя в течение всей жизни у нее будут находить много черт «несносной причудницы».

Кроме того, Анна Михайловна рано попала ко двору, а Екатерина осталась в доме дяди пополнять образование беседами с чужеземцами: «Иностранные артисты, литераторы и министры... должны были платить дань моей безжалостной любознательности. Я расспрашивала их об их странах, законах, образах правления; я сравнивала их страны с моей собственной, и во мне пробудилось горячее желание путешествовать»^[43]. Благодаря рассказам гостей вице-канцлера, на необычную девушку обратил внимание фаворит императрицы Иван Иванович Шувалов. «Любовник Елизаветы, желавший прослыть за мецената... узнав, что я страстно люблю читать книги, предложил мне пользоваться всеми литературными новостями, которые постоянно высылались ему из Франции»^[44].

А что же родные? Современные исследователи пришли к любопытному заключению: до событий 1762 г. отношение Дашковой к отцу и дяде носило «почтительно-благожелательный», но «односторонний» характер. Т. е. девушка писала письма, называла себя «покорной и послушной дочерью», а ей почти не отвечали. Она задавалась вопросом: «Не подала ли я невинно Вам причину на меня гневаться?» – и просила «незнаему мою вину отпустить»^[45]. А вот после переворота имя Екатерины Романовны замелькало в письмах родных: с досадой

и нескрываемым упреком княгине пеняли, де она мало помогает семье. Неужели для того, чтобы нашу героиню заметили близкие, ей надо было ввязаться в государственный заговор?

Описывая в мемуарах внимание иностранцев и фаворита императрицы, Дашкова как бы компенсировала равнодушие родни. Единственным человеком, который мог бы скрасить одиночество сестры и разделить ее интеллектуальные интересы, был в тот момент старший брат. Его вдумчивый спокойный характер уравновешивал горячий темперамент Екатерины Романовны. «Нежность, которую я питала к моему брату... побуждала меня писать ему часто и аккуратно... раз в две недели... Этой переписке я обязана сжатым и образным слогом». В скромности княгиню не упрекнешь, но сейчас для нас важно отметить, что она отправляла в Версаль целые «дневники». Бедные внешними событиями, они многое говорили о развитии ума и души девушки. «Политика с самых ранних лет особенно интересовала меня»^[46], – признавалась она.

У вице-канцлера хранились старинные дипломатические документы, которые он разрешил племяннице просматривать. Пожилая Дашкова рассказывала Марте Уилмот, что в детстве любила рыться в этих бумагах^[47]. Среди них имелись любопытные материалы, касавшиеся Китая и Персии, было немало сведений о польских делах, о взаимоотношениях с Крымом и Турцией. Документы относились ко временам Петра I и Анны Иоанновны, то есть при внимательном анализе и сопоставлении с современным положением дел могли показать русскую внешнюю политику в развитии. Привыкая обдумывать прочитанное, Екатерина Романовна неизбежно подставляла себя на место того, кому предстоит решать важные вопросы. И, в конечном счете – судьбу страны.

Осторожностью мадемуазель Воронцова не отличалась и очень рано обнаружила перед посторонними плоды своих размышлений. Рюльер писал про дом вице-канцлера: «Она видела тут всех иностранных министров, но с 15 лет желала разговаривать только с республиканскими. Она явно роптала против русского деспотизма и изъявляла желание жить в Голландии, в которой хвалила гражданскую свободу и терпимость вероисповедания»^[48]. Страсть Дашковой к парламентаризму уже после переворота подтверждал английский посол граф Джон Бекингемшир, приводя ее слова: «Почему моя дурная судьба поместила меня в эту огромную тюрьму? ...Почему я не рождена англичанкой? Я обожаю свободу и пылкость этой нации»^[49].

«Завишу душой и телом»

Слово недалеко отстояло у нашей героини от дела. Недаром позднее в одной из пьес она выведет себя под именем госпожи Решимовой. Действительно, Екатерина Романовна быстро принимала решения и бралась за их исполнение с энтузиазмом, который у более холодных натур вызывал усмешку. Однако сама княгиня, как замечала Кэтрин Уилмот, была лишена чувства юмора и предавала забавным мелочам серьезное значение. Если нельзя сейчас преобразить Россию из «большой тюрьмы» в республику или хотя бы переродиться англичанкой, то можно отказаться от некоторых неприятных обычаев старины и перенять «свободу» британцев от белил и румян.

«В стране, где... женщина не подойдет без румян под окно просить милостыню... 15-летняя девица Воронцова отказалась навсегда повиноваться сему обычаю», – с восхищением писал Рюльер. Это было ново и обращало на Екатерину Романовну недоуменное внимание кавалеров. А среди них мог найтись и суженый. «Однажды, когда князь Дашков... забавлял ее разговором в лестных на своем языке выражениях, она подозвала великого канцлера со словами: “Дядюшка! Князь Дашков мне делает честь своим предложением и просит моей руки”. Собственно говоря, это была правда, и молодой человек, не смея открыть первому в государстве человеку, что сделанное им его племяннице предложение не совсем было такое, на ней женился»^[50].

Конечно, приведенный Рюльером рассказ – сплетня, которую дипломат подобрал на придворном паркете. Сама Екатерина Романовна описала знакомство с мужем иначе: «Мой дядя, его жена и дочь жили с императрицей в Петергофе и Царском Селе; легкое нездоровье и любовь к чтению и покойной жизни задержали меня в городе». Однажды Екатерина Романовна отправилась навестить заболевшую приятельницу, а домой возвращалась пешком в обществе ее сестры. «Не успели мы пройти нескольких шагов, как из боковой улицы вышел нам навстречу человек, показавшийся мне великаном». Это и был молодой князь Дашков. «Будучи знаком с Самариной, он вступил с ней в разговор и пошел рядом с нами, изредка обращаясь ко мне с какой-то застенчивой учтивостью, чрезвычайно понравившейся мне».

Дело относилось к июлю 1758 г. Рассказывая о тех давних событиях Марте Уилмот, Дашкова не могла признать, что не поехала в загородную резиденцию, поскольку не служила при дворе. Иначе пришлось бы обозначить дистанцию между собой и августейшими особами. Отсюда ссылка на «легкое нездоровье», «любковь к чтению и покойной жизни». Правда же состояла в том, что девушка осталась в столице практически одна. Вот тут-то и завязался роман.

И не с кем-нибудь. А с Михаилом Ивановичем Дашковым, которого в семье Воронцовых «не принимали, и имя его никогда не произносилось». Причина такого отношения крылась в волокитстве князя. «До женитьбы он был чрезвычайно близок с двумя старшими сестрами своей жены»^[51], – доносил позднее Бекингемшир. Имелись в виду родная сестра Мария Романовна (в замужестве Бутурлина) и кузина Анна Михайловна (в замужестве Строганова). Сама Дашкова говорит только об одной родственнице.

Кроме первой, княгиня не опишет ни одной встречи с женихом. Но они происходили, судя по тому, что влюбленные сладили необычайно быстро – уже к 20-м числам жених попросил руки. Сама Дашкова считала свой брак «Божьим промыслом», которого «нельзя избежать».

«Если бы я слышала когда-нибудь его имя в доме моего дяди, куда он не имел доступа, – писала она о будущем муже, – мне пришлось бы непременно услышать и неблагоприятные для него отзывы, и узнать подробности одной интриги, которая разрушила бы всякие помыслы о браке с ним... Его связь с очень близкой моей родственницей, которую я не могу

назвать, и его виновность перед ней должны были отнять у него всякую мысль, всякое желание и всякую надежду на соединение со мной... Казалось, брак между нами не мог бы никогда состояться; но... не было той силы, которая могла бы помешать нам отдать друг другу наши сердца»^[52].

Дядя и отец находились в загородной резиденции, куда нельзя было попасть без приглашения государыни. Михаилу Дашкову пришлось просить руки девицы Воронцовой через своего друга князя Голицына «в первый же раз как он будет в Петергофе».

Влюбленные не без трепета ждали решения. Первый, с кем наша героиня поделилась тревогами, был брат Александр. 20 июля она писала ему: «Через три недели, самое позднее через месяц, я дам тебе знать, получила ли я разрешение (а может быть – отказ) на мой предстоящий брак от моих родных (их нет в городе, поэтому они еще ничего не знают), а я от них завишу душой и телом»^[53].

Князю Дашкову вполне могли отказать. Молодой красавец успел поухаживать за Анной Михайловной. В доме обсуждали подробности «некоего романа». Но дочь вице-канцлера к этому времени уже отправилась с супругом в дипломатический вояж в Вену. Ничто не мешало родным позаботиться о младшей из девиц. «Наша семья не поставила никаких препятствий нашему браку», – с облегчением заключала Екатерина Романовна.

Себя она называла «безумно влюбленной». О женихе писала, что тот «может найти счастье только в браке со мной». Но что думал сам молодой человек? Внешность невесты не должна была его шокировать. Благодаря поздним описаниям, Екатерину Романовну часто представляют непривлекательной и даже мужеподобной. Для юных лет это неверно. Екатерина II считала Дашкову более красивой, чем сестра, и особенно подчеркивала ее «большие голубые глаза»^[54].

Князь повел себя настойчиво. Он был на семь лет старше нашей героини, обладал легким, веселым нравом, служил штабс-капитаном в Преображенском полку, к нему тянулись товарищи. Однако, являясь наследником крупного состояния, Михаил Иванович истощил кошелек столичной жизнью. А потому вопрос о приданом не мог считаться второстепенным. «Меня выдали замуж в пятнадцать лет за высоконравственного человека и примерного сына, – настаивала наша героиня, – чья врожденная щедрость, а не обычно свойственная юности расточительность, привели к расстройству его наследства. Чтобы не огорчать мать, он скрывал это от нее, почему я была вынуждена отказывать себе во всех удовольствиях, в том числе в покупке новых книг»^[55]. Значит, сразу после свадьбы молодые стали жить на деньги жены.

Сравнительно с сестрой и кузиной Екатерина Романовна получила меньше богатств. Возможно, согласие князя Дашкова на скромное приданое и объясняло тот факт, что семья Воронцовых «не поставила» ему «никаких препятствий». Однако молодым пришлось сильно подождать – до февраля следующего, 1759 года. В «Записках» причиной отсрочки названа болезнь тетушки Анны Карловны. Исследователи объясняют задержку финансовой ямой, в которой очутился вице-канцлер.

150 тысяч, полученные от Версаля в качестве благодарности за помощь при заключении русско-французского союза 1756 г., давно истаяли^[56]. Несметно богатый Воронцов постоянно жаловался на бедность. Его челобитные императрице – стон погибающего от долгов бедняка, отмечал Е.В. Анисимов. Обращаясь к фавориту Шувалову, Михаил Илларионович постоянно просил денежных ссуд и земельных пожалований. Он добился монополии на вывоз за границу льняного семени. Вместе с братом Романом получил богатые медеплавильные заводы в Приуралье^[57]. В 1756 г. вытребовал у Сената исключительное право вывезти в Европу в течение пяти лет 300 тыс. четвертей хлеба^[58]. Ввиду надвигавшейся войны, когда все армии нуждались в продовольствии, а комиссионерами выступили «нейтральные» шведские купцы, выгодность такой монополии трудно переоценить.

И все же, все же... Жалуясь Елизавете Петровне на бедность, вельможа писал: «Должность моя меня по-министерски, а не по-философски жить заставляет»^[59]. Запомним эти слова. Много лет наша героиня будет принуждена жить именно «по-философски», т. е. довольствуясь только необходимым, избегая роскоши. Ее дядя, напротив, вел себя, как ростовские купцы, которые нашивали на собольи шубы дерюжные заплаты, демонстрируя императрице свою нищету и прося денег, чтобы «расторговаться».

Брат вице-канцлера Роман Илларионович тоже не бедствовал. В 1753 г. он получил от Сената монополию на торговлю с Персией сроком на 30 лет. Через два года в своем шлисельбургском селе Мурино открыл водочный завод, дававший из-за близости к столице особенно высокую прибыль. У Екатерины Романовны были все основания считать, что родня купается в золоте. Поэтому ее отзыв, будто отец не дал ей «и рубля»^[60], эмоционально понятен.

Исследователи давно отметили, что это обыкновенное для Екатерины Романовны преувеличение. 12 февраля 1759 г. Роман Илларионович подписал «сговорную», согласно которой вручал дочери приданое на 12 917 рублей и еще 10 тыс. рублей на покупку деревень^[61]. Последнюю цифру отчего-то принято забывать, указывая только первую^[62]. Между тем поместье в те времена можно было купить за сумму от тысячи до десяти тыс. рублей, а дом в Москве – за три.

При сравнении с приданым Марии Романовны, которое оценивалось в 30 тысяч, приданое младшей сестры действительно выглядело небогато. Однако если вспомнить, что фрейлина Мария получила 11,5 тыс. рублей от государыни, окажется, что Роман Илларионович дал обеим дочерям примерно равную сумму – более 20 тысяч каждой. Старшую сестру выделило придворное положение, а не щедрость отца. И вот тут возникает новая любопытная ситуация, умело нарисованная в «Записках» нашей героини.

Екатерина Романовна поместила трогательную сцену, в которой императрица, решив отужинать после итальянской оперы у канцлера, обнаружила в его доме молодых и благословила их. Она, «как настоящая крестная мать, вызвав нас в соседнюю комнату, объявила, что знает нашу тайну... пожелала нам счастья, уверяя нас, что будет всегда принимать участие в нашей судьбе... Доброта и очаровательная нежность, которыми ее величество нас осчастливила, до того умилили меня, что мое волнение стало очевидным... Императрица ласково потрепала меня по плечу и сказала:

– Успокойтесь, дитя мое; а то, пожалуй, подумают, что я вас бранила».

Эту сцену можно правильно понять, только зная перипетии с приданым. Вместо денежного пожалования, как сестра, Екатерина Романовна получила «материнское благословение» государыни. Поскольку о первом в мемуарах не сказано, то второе выглядит очень весомо. На самом же деле приходилось сожалеть, что к добрым словам Елизавета не прибавила «и рубля».

«Мы много потеряли»

Видимо, Роман Илларионович все-таки считал младшую дочь обойденной, поскольку уже после ее возвращения из Москвы, в 1762 г., предложил молодым, вместо себя, получить земли под Петербургом, которые раздавал приближенным Петр III – «сплошные болота и густые леса». «Мой отец пожелал, чтобы я его взяла, – писала об участке в Кирианово наша героиня. – Тщетно я объясняла ему, что не могу им заняться, так как денег у меня вовсе не было; он настоял на своем и обещал мне выстроить маленький деревянный домик... В то время в Петербурге проживало около сотни крепостных моего мужа, которые каждый год приходили на заработки; из преданности и благодарности за свое благосостояние они предложили мне, что поработают четыре дня, чтобы выкопать канавы, и затем будут в праздничные дни поочередно продолжать работы... Вскоре более высокая часть земли обсушилась и была готова под постройку дома».

Оценим хозяйственную хватку молодой княгини. Крестьяне находились в столице, зарабатывая деньги на оброк барину, после которого кое-что оставалось и им самим. Дашкова нигде не говорит, что за осушение болотистых земель мужикам скостили выплаты. Напротив, они копали канавы «из благодарности», т. е. даром. Далее Екатерина Романовна упомянула, что ездила в имение «через день», стало быть, четыремя днями и праздниками дело для крепостных не обошлось. Так, летом 1762 г. холопы ее мужа оказались одновременно и на барщине, и на оброке, да еще и «предложили» хозяйке такой график сами... Нужно было уметь договориться с ними, и сделал это явно не щедрый Михаил Иванович.

Тем временем Екатерина Романовна отнюдь не роскошествовала: «Я... твердо решилась не предпринимать ничего, что могло бы стеснить моего мужа в денежном отношении; кроме расходов на скромный стол для меня, моей дочери и для прислуги, я ничего не тратила, так как носила еще платья моего приданого»^[63]. Такой подход будет характерен для Дашковой в течение всей жизни. Он объяснялся не только стесненными материальными обстоятельствами, но и убеждениями княгини. «Умеренность и бережливость заслуживают похвалу, а не пересмушку, – отмечала она в записной книжке в 1791 г. – Честнее и добродетельнее жить малым и проживать только свое, нежели жить роскошно и проживать чужое»^[64]. Через четыре года она выскажется резче: «Всякое излишество есть грех»^[65]. Но у каждой добродетели имеется оборотная сторона. В беседе со своим статс-секретарем А.В. Храповицким Екатерина II назовет подругу «скупягой» и поставит той в вину, что она поместила деньги в ломбард^[66], т. е. ссужала под проценты. Однако именно умение хозяйствовать (и не в последнюю очередь заставлять крепостных работать) поможет княгине со временем нажить состояние. «Я в продолжение двадцати лет управляла поместьями своих детей, – напишет она, – и могу с гордостью предъявить доказательства, что за этот период крестьяне стали трудолюбивее, богаче и счастливее»^[67].

С подобными убеждениями Дашкова может показаться белой вороной среди расточительного дворянства века Просвещения. Но чем легкомысленнее вели себя одни, тем старательнее другие противопоставляли новой, занесенной из Франции, морали мотовства старинные дедовские добродетели. Бережливость, рачительность, отказ от роскоши были не последними среди нравственных идеалов, которые отстаивали князь М.М. Щербатов, Д.И. Фонвизин, Н.И. Новиков. В ряду этих ярких публицистов княгиня со временем займет почетное место.

Сравним ее рассуждения со словами Щербатова, искавшего идеал в допетровской Руси: «Не токмо подданные, но и самые государи наши жизнь вели весьма простую... Почти всякий по состоянию своему без нужды мог своими доходами проживать и иметь все нужное». Однако после реформ Петра вкралась «роскошь», «начали люди наиболее привязы-

ваться к государю и к вельможам, яко ко источнику богатства и награждений... стали не роды почтенны, а чины, и заслуги, и выслуги»^[68].

Последнее обличение напрямую касалось таких семейств, как Воронцовы, и молодая княгиня приняла бы его с горячим негодованием. Дело в том, что противостояние между родовой и служилой знатью – скрытое, но от этого не менее упорное – не утихало в течение всего XVIII столетия. Объединив вотчину и поместье, Петр Великий убрал сословную перегородку внутри дворянства. Но живейшая память о ней оставалась. Рубец не зажил даже в следующем веке. А.С. Пушкин в уже упомянутом «Романе в письмах» скажет: «Аристократия чин[овная] не заменит аристократии родовой».

Древние фамилии, владевшие некогда собственными княжествами, чувствовали себя униженными, когда их ставили в равное положение с теми, кто приобрел знатность и богатство, служа государю и получая от него землю на правах держания. Екатерина Романовна вышла замуж за отпрыска одного из таких исконных родов. Дашковы вели свое происхождение от Рюрика и князей Смоленских. Мать молодого князя Анастасия Михайловна, урожденная Леонтьева, приходилась двоюродной племянницей Наталье Кирилловне Нарышкиной, матери Петра I. Таким образом, и новая родня имела кровные узы с августейшей фамилией. Впоследствии Екатерина Романовна предавала большое значение древности семьи, в которую вошла, и высоте приобретенного титула. Уже знакомый нам Александр Уэддерберн писал Уильяму Робертсону: «У нее есть некоторая доля тщеславия», касающаяся «ее общественного положения. Внимание к ее положению уместно и необходимо... Я считал бы разумным соблюдать соответствующую церемонию», связанную со словом «княгиня», это обеспечит «дружбу», при которой необходима «некоторая дистанция»^[69].

Попав в Москву, Екатерина Романовна не просто чувствовала себя «чужестранкой», она представляла петербургскую знать, ту самую, которая «привязалась к государю... яко ко источнику богатства и награждений». Абсолютно недостаточно подчеркивать, что наша героиня происходила из знатного рода, и ее суженный *тоже* был знатен. Молодые оказались знатны *по-разному*, их союз знаменовал соединение старой и новой аристократии.

Нетрудно узнать образ жизни дяди Екатерины Романовны в описании Щербатова: «Единые, от монаршей щедроты получая многое, могли много проживать»^[70]. Дом вице-канцлера на Фонтанке был выстроен Бартоломео Растрелли. По признанию племянницы, он «представлял из себя действительно княжеский дворец в самом изысканном европейском вкусе»^[71]. После заключения союза с Францией его обставили мебелью, подаренной Людовиком XV. Не сочувствовавшая этому альянсу Екатерина II злословила, что король прислал Воронцову стулья и диваны, которые надоели мадам Помпадур.

Такие разговоры не смущали суетную петербургскую родню нашей героини. Но сама она уже стояла на пороге нового мира, за которым обличения, подобные Щербатовским, перестанут ее задевать. Напротив, встретят в сердце образованной княгини горячий отклик. Еще недавно, читая Гельвеция, ставившего в упрек Петру I сохранение деспотизма, мадемуазель Воронцова напишет на полях: «Он сделал больше того, что позволяло ему время»^[72]. Однако в Москве ее рассуждения о царе-реформаторе примут иной характер. После одного из посещений Страстного монастыря она скажет: «Мы не только не выиграли, но много потеряли в изменении старинных нравов, кои основывались на правилах Закона (имелся в виду закон религиозный. – О.Е.), на любви к Отечеству и на собственном к себе почитании, как народ сильный, храбрый и отличающий себя от других нравственностью и многими добродетелями»^[73].

Именно так воспринимали допетровскую Россию многие интеллектуалы второй половины XVIII в. Попав в Первопрестольную, умной «чужестранке» предстояло обрести Отечество, располагавшееся не только на карте, но и во времени. Золотой век, «земля Офирская» окажутся в прошлом.

«Новый мир»

В начале мая молодые отбыли в Москву⁹. «Передо мной открылся новый мир, новая жизнь, которая меня пугала, тем более что она ничем не походила на все то, к чему я привыкла», – вспоминала Дашкова. Через два года, вернувшись в столицу, она испытает род облегчения: «Я была рада... очутиться в прежней обстановке, с детства мне знакомой и столь различной от склада московской жизни, когда я часто становилась в тупик перед некоторыми обычаями, с которыми мне приходилось сталкиваться во многих домах: все так отличалось от того, как делалось в доме моего дяди»^[74].

Прежде всего, отличался сам дом. В 1743 г. мать князя Анастасия Михайловна Дашкова купила на Большой Никитской улице «каменные палаты о двух жильях... с дворовым местом и со всяким деревянным хоромным строением». Через десять лет Дашковы решили расширить владения и прикупили на имя Михаила Ивановича участок земли рядом с двором матери. «Улицы» в петербургском понимании наша героиня не увидела. Напротив дома свекрови на целый квартал тянулась глухая стена Никитского женского монастыря, а само жилище напоминало усадьбу, привольно раскинувшуюся в Белом городе.

Здесь было по-своему богато, но крайне непривычно – ни кабинета, ни библиотеки. Вставали рано, ложились засветло, свято блюли посты и церковные праздники. Вся жизнь проходила на виду, ни малейшей возможности уединиться – вероятно, обитатели Большой Никитской еще не испытывали в этом потребности. А вот молодым, «развращенным» европейскими нравами столицы, пришлось тяжело. «Более двух лет я провела в доме свекрови, – писала Дашкова в 1782 г. Екатерине II, – суеверной и властной женщины, которая заставляла нас целые дни проводить в ее комнатах, слушая молитвы. Я даже не могла удалиться к себе, чтобы насладиться чтением, без того, чтобы она не обвинила меня в том, что увожу своего мужа и тем лишаю ее общества сына»^[75].

О двух годах, речь, конечно, не шла. Мая хватило. Уже в июне молодые уехали осматривать имения, а, вернувшись на зиму в Москву, поселились в собственном доме, который Михаил Иванович сразу после свадьбы начал строить на купленном участке. Перед нами обычная для дашковского стиля гипербола. Однако ощущения от житья со свекровью переданы ярко, внутреннее раздражение не ушло и через двадцать лет.

Старая княгиня мечтала, чтобы сын женился, «так как он был последний князь Дашков», и даже приискала ему невесту – одну из девиц Бутурлиных – «москвичку», а не «чужестранку». Но Михаил Иванович сделал свой выбор, и мать с ним согласилась. В декабре 1759 г. молодую чету в Москве посетил 15-летний Семен Воронцов, писавший отцу, что «с великой радостью видел, как она (свекровь. – О.Е.) – сестру Екатерину Романовну любит»^[76]. Однако тогда же выросший в Петербурге юноша отмечал, что ему в Первопрестольной «невольно и скучно». Сходные чувства должна была испытывать и наша героиня. На глазах у «стариков и старушек», под перелистывание Часослова, она изнывала и рвалась «удалиться к себе» и «насладиться чтением».

Отъезд за 100 верст от Москвы в имение Троицкое в Серпуховском уезде сильно скрасил Екатерине Романовне жизнь. Наконец, она осталась наедине с мужем. В пьесе «Тои-сиоков» госпожа Решимова рассказывает о себе: «Как мы чрезмерно друг друга любили,

⁹ Говоря о роли Москвы в жизни Е.Р. Дашковой, нельзя обойти молчанием книгу Г.А. Веселой и Е.Н. Фирсовой (Москва в судьбе княгини Дашковой. М., 2002), снабженную трогательными иллюстрациями последней. Текст проникнут искренней любовью к героине повествования и изобилует множеством интересных деталей, касающихся не только биографии княгини, но и особенностей московского быта того времени. К сожалению, некоторые события, описанные в книге, приурочены не к тому времени, когда происходили. Авторы стремятся следовать «Запискам», дополняя их другими источниками. Там, где последние вступают в противоречие с мемуарами, видна тенденция к сглаживанию материала.

вздумали, что городское пребывание суетно и препятствует к наслаждению взаимной ношей горячности, поехали в деревню: там, дескать, мы одни будем и беспрепятственно станем друг другом утешаться. Первые пять-шесть дней хорошо шло, друг другу вселенную заменяли; но скоро после заметила, что он, свет, зевает... Не поехать ли в город? – сказала я. Он тотчас согласился»^[77]. Это почти автобиографическая зарисовка.

В конце октября супруги вернулись в Москву, где для них поднялся двухэтажный особняк на углу Большой Никитской – дом в новом, европейском стиле, с кабинетом, библиотекой, гостиной, мебелью под заказ и клавесином для хозяйки. Хотя под боком у свекрови, но свое гнездо. Именно для того, чтобы свить его, нашей героине пришлось «отказывать себе во всех удовольствиях, в том числе и в покупке новых книг». Без приданого жены Михаил Иванович вряд ли справился бы со строительством. На время пришлось подтянуть пояса, зато супруги почти с самого начала зажили *рядом*, а не *вместе* с матерью мужа.

21 февраля 1760 г. Екатерина Романовна родила дочь Анастасию, окрещенную в честь старой княгини. В мае семья вновь уехала в Троицкое, куда пришлось взять с собой и свекровь. Но «в обществе моего клавесина и моей библиотеки время для меня быстро летит», – вспоминала Дашкова. Затем молодые отбыли под Орел в Птицыно. Отпуск Михаила Ивановича истекал. В письме Роману Илларионовичу чета Дашковых просила выхлопотать для Михаила еще пять месяцев отсрочки, но тут в дело вмешалась политика. Вернее, придворный politic.

Императрица Елизавета много болела. Семья Воронцовых вместе с некоторыми другими вельможами сделала ставку на наследника Петра Федоровича. Отец нашей героини хотел, чтобы молодой князь Дашков тоже сблизился с царевичем. Случай казался удобным. Петр носил чин подполковника Преображенского полка, где Михаил Иванович служил штабс-капитаном. Формально испрашивать продления отпуска следовало у великого князя, и Роман Илларионович настоял, чтобы зять сам приехал в Петербург. Это была беспроигрышная комбинация. Одной рукой Воронцов придвигал к Петру очередного родича, а другой демонстрировал царевичу силу и обширность клана. В условиях, когда гвардия играла ключевую роль при возведении монарха на престол, штабс-капитан лучшего из полков – желанная фигура для окружения претендента.

Надо отдать Петру Федоровичу должное, он прекрасно разобрался в ситуации и заявил, что разрешит отпуск только после двухнедельного пребывания князя в Петербурге. Это было необходимо для личного знакомства. Видимо, Михаил Иванович понравился, потому что его пригласили кататься в санях в Ораниенбауме. Старый учитель великого князя Якоб Штелин, теперь исполнявший у него должность библиотекаря, описал эту поездку: 10 января «... катанье в 12 маленьких салазках... Частые падения в снег». На следующий день разыгралась вьюга со шквальным ветром, что не помешало параду. 15-го «Утро на охоте за лесными пулярами... Вечером... двор, великий князь и я отправились на новую ферму... отпраздновать новоселье прекрасным ужином и большим фейерверком в саду»^[78].

Ферма с фейерверками – это Сан Эннюи (Sans Ennuï) – дача Елизаветы Воронцовой. Как родственник Михаил Иванович должен был побывать и там. Что бы он ни думал о положении зловки, приходилось терпеть и угождать великому князю. «Частые падения в снег» и «шквальный ветер» не прошли даром. «Он простудился и схватил ангину», – вспоминала Дашкова.

Сама княгиня тоже захворала в разлуке: «Я была так огорчена, что у меня сделался жар, который скорее гнездился в моих нервах и моем мозгу, чем в крови». Обратим внимание на эти слова. Впоследствии Екатерина Романовна будет часто болеть именно от психических потрясений.

Дорогой в Москву князь выходил из кареты, «только чтобы промочить горло чаем». Он знал, что у жены вот-вот начнутся роды, и не поехал прямо домой, а предпочел свернуть

к тетке А.М. Новосильцевой – благо родня жила через улицу. 1 февраля, когда Екатерина Романовна уже почувствовала схватки, ее горничная, «которая была моих лет и очень легкомысленна», решила ободрить госпожу радостной вестью. Барин в городе! Молодая женщина испустила крик ужаса, вообразив, будто муж ранен и поэтому не едет домой. «Надо себе представить семнадцатилетнюю безумно влюбленную женщину, с горячей головой, которая не понимала другого счастья, как любить и быть любимой».

Молодой княгине удалось отослать от себя свекровь и вместе с акушеркой пешком отправиться к мужу. Увидев бледного Михаила Ивановича, женщина упала в обморок. «Впоследствии муж приводил меня в ужас рассказом о моем появлении у его постели... Узнав, что роды уже начались, он пришел в ужас и хотел выскочить из постели; моя тетка бегала по комнате, ломая себе руки». Обоих едва удалось унять. Екатерину Романовну в санях отвезли домой. Через час она родила сына, названного в честь отца – Михаилом.

Есть сведения, что в Москве между молодыми не все было гладко, именно поэтому князь предпочел остановиться у тетки, а не ехать прямо домой^[79]. В «Записках», где герои идеальны, такой информации не место. Но на страницах пьесы, главную героиню которой Дашкова наделила не только своим характером, но и своей биографией, след недовольства остался: «Ну-с, приехали мы в город; и чтобы не подвергнуться той же скуке, стали разъезжать он в сторону, а я в другую. Поутру в лавках, да на гулянье, потом спешу одеться, чтобы обедать в гостях, после в комедию, оттуда на бал; с утренней зарей домой возвратимся так измучены, так устанем... а веселья и удовольствия нисколько не находили... Тут я спохватилась»^[80].

Описанная в мемуарах сцена могла быть взрывом, после которого последовало нежное примирение. Поправлялись молодые в доме у свекрови, лежа в разных комнатах и обмениваясь ласковыми записочками. «Я хотела быть его кормилицей и ежеминутно, собственным своим глазом сторожить за постепенным его выздоровлением... Сорок грустных лет прошло после его потери... и ни за какие блага мира я не желала бы опустить воспоминание о самом мелочном обстоятельстве из лучших дней моей жизни».

Подходило к концу московское заточение. У Екатерины Романовны оставалось еще три года семейного счастья, но внешние события вскоре начали развиваться с такой стремительностью, что наша героиня едва успевала поворачивать голову. Через несколько месяцев московский мирок разомкнет руки, и Дашкова вернется в город детства – город одиночества и потерь.

Глава 2. Подруга

«Я была рада повидаться с родными и очутиться в прежней обстановке», – вспоминала Дашкова. Миг приезда в столицу показался ей «сладостным и счастливым», а Петербург, по сравнению со старушкой Москвой – «великолепным». Она не могла оторваться от окна, насмотреться на стройные здания вдоль каналов, пыталась разглядеть на улице кого-нибудь из знакомых. «Я была как в лихорадке», и едва обосновавшись на месте, побежала наносить визиты дяде и отцу. «Но ни того, ни другого не оказалось дома».

Знаменательный момент. Екатерина Романовна спешит к родным и... ее раскрытые объятия вновь оказываются пустыми. Спустя почти месяц, 15 июля, тетка нашей героини Анна Карловна напишет дочери в Вену: «Княгиня Катерина Романовна с Москвы приехала и очень худа стала; и дочь с собой привезла»^[81]. А мужа? Создается впечатление, будто Дашкова вернулась одна. Упомянуть бывшего поклонника в письме Анне Михайловне Строгановой мать не стала. А вот то, что кузина-счастливица похудела (значит, по понятиям того времени, подурнела) сочла уместной и даже утешительной вестью.

Опять, как в детстве, Екатерина Романовна могла упрекнуть родных в равнодушии. Но было еще одно лицо, свидание с которым обещало принести нашей героине радость. Карета князя и княгини Дашковых въехала в Петербург 28 июня, ровно за год до переворота, возведшего на престол Екатерину II. В тот момент еще ничто не предвещало грядущих событий. Императрица Елизавета была жива, цесаревич Петр Федорович уверенно чувствовал себя в роли наследника, заручившись поддержкой двух влиятельных придворных кланов – Шуваловых и Воронцовых. Его супруга Екатерина Алексеевна вела уединенный образ жизни. Она уже задумывалась о власти, но час пока не пробил.

Племянница вице-канцлера познакомилась с великой княгиней два года назад. В январе 1759-го. Тогда в жизни Екатерины Романовны завязывались два узелка на счастье – ее сердце раскрылось навстречу жениху, а ум – навстречу новой подруге.

«В ту же зиму великий князь, впоследствии император Петр III, и великая княгиня, справедливо названная Екатериной Великой, приехали к нам провести вечер и поужинать, – вспоминала Дашкова. – Иностранцы обрисовали меня ей с большим пристрастием; она была убеждена, что я все свое время посвящаю чтению и занятиям... Мы почувствовали взаимное влечение друг к другу... Великая княгиня осыпала меня своими милостями и пленяла меня своим разговором... Этот длинный вечер, в течение которого она говорила почти исключительно со мной, промелькнул для меня как одна минута»^[82].

Самой мемуаристке казалось, что такое внимание объясняется исключительно заинтересованностью гостии в диалоге с умной собеседницей. Однако была и другая сторона монеты. Только что прогремел заговор канцлера А.П. Бестужева-Рюмина – самого сильного сторонника великой княгини. Шла Семилетняя война с Пруссией. Противник берлинского двора, Бестужев желал отстранить от наследования престола Петра Федоровича, страстного поклонника Фридриха II, и передать корону его несовершеннолетнему сыну Павлу при регентстве матери – Екатерины. Конечно, главную роль – реального правителя государства за спиной у регентши-иностранки Бестужев отводил себе.

Но заговор был раскрыт. Следствие тянулось больше года, 9 января прошел последний допрос, вскоре Бестужев был разжалован и сослан в деревню. Великая княгиня в один миг оказалась без союзников и покровителей. Сама Екатерина не пострадала только потому, что успела вовремя сжечь компрометирующие документы.

Приезд великокняжеской четы в дом нового канцлера Михаила Воронцова – сторонника Петра Федоровича – знаменовал собой внешнее примирение, произошедшее между супругами по требованию императрицы. Екатерине было позволено появляться в свете, но

только у приятных Елизавете Петровне людей. Приехав к Воронцовым и оказавшись в окружении враждебного клана, великая княгиня чувствовала себя неуютно, с ней почти никто не говорил, и она – чтобы не потерять лицо – вынуждена целый вечер поддерживать бесконечный диалог с младшей племянницей канцлера. К счастью для царевны, ее собеседница обнаружила глубокий ум и начитанность. Общим не было скучно, и Екатерина приложила все усилия, чтобы удержать возле себя ничего не подозревавшую девочку.

В час встречи Екатерины со своей будущей подругой царевна находилась в точке абсолютного падения: ее надежды на регентство рухнули, влиятельные друзья арестованы – все надо было начинать сначала. Обаяние, ум, заинтересованность, любезность – вот оружие, которое Екатерина пустила в ход, чтобы завоевать себе сторонников. «Очарование, исходившее от нее, в особенности, когда она хотела привлечь к себе кого-нибудь, было слишком могущественно, чтобы подросток, которому не было и пятнадцати лет, мог ему противиться»,^[83] – писала Дашкова.

Подобное поведение скоро дало плоды. Первое восхождение заняло у великой княгини более десяти лет, второе – всего три года.

Sans ennui

Исследователи часто задаются вопросом: зачем молоденькая и восторженная девица Воронцова понадобилась 30-летней, далекой от наивности цесаревне? И обычно отвечают, что при подготовке переворота Екатерине не помешала бы природная русская княгиня, крестница императрицы, племянница нового канцлера^[84]. На наш взгляд, расчет был точнее. Великая княгиня обзавелась «своим человеком» во враждебном клане. Она уже содержала на жалованье фаворитку мужа Елизавету Романовну Воронцову. Но это не могло считаться надежной гарантией от происков «метрессы» Петра Федоровича. Любовница питала надежду стать законной супругой великого князя. Об их планах следовало знать из первых рук. Сестра претендентки подходила как нельзя лучше. Из мемуаров Дашковой видно, что Петр благоволил к ней, хотя и считал «маленькой дурочкой». В ее присутствии говорилось много такого, над чем полезно было подумать великой княгине.

Недаром, рассказывая о своем щекотливом положении после ареста Бестужева, Екатерина обронила: «Что касается великого князя, то я... знала только, что он ждет с нетерпением моей отсылки и что он наверное рассчитывает жениться вторым браком на Елизавете Воронцовой... Ее дядя, вице-канцлер граф Воронцов... узнал планы своего брата, может быть, вернее своих племянников, которые были тогда еще детьми»^[85]. Из этих строк следует: во-первых, что действиями фаворитки руководил отец Роман Илларионович Воронцов; во-вторых, что его брат был об этом осведомлен; в-третьих, что «племянники» – братья и сестры «Романовны» – если и знали, то по молодости лет немного. Стало быть, великая княгиня пыталась разведать, что им известно. А сделать это она могла только через юную тезку.

Уехав в Москву, Екатерина Романовна унесла самые отрадные воспоминания о великой княгине: «Возвышенность ее мыслей, знания, которыми она обладала, запечатлели ее образ в моем сердце и в моем уме, снабдившем ее всеми атрибутами, присущими богато одаренным природой натурам». После возвращения Дашковых из Первопрестольной двум просвещенным дамам предстояло вновь встретиться. Это произошло в Ораниенбауме, куда должны были явиться все офицеры Преображенского полка с женами, чтобы представиться великокняжеской чете. Вскоре дружеские отношения Дашковой с цесаревной восстановились, что не слишком понравилось Петру Федоровичу. Видимо, он считал, что вся родня фаворитки как бы уже принадлежит ему, тем более что Екатерина Романовна была его крестной дочерью. Во время первого же посещения Ораниенбаума наследник сказал ей: «Если вы хотите здесь жить, вы должны приезжать каждый день, и я желаю, чтобы вы были больше со мной, чем с великой княгиней».

Принято обращать внимание на вторую часть этой фразы: Петр советовал Дашковым оставаться при нем и как можно меньше внимания уделять цесаревне. Но и первые слова великого князя любопытны. Разве он мог запретить молодым на время занять пустующую дачу Романа Воронцова? «Мой отец предложил нам поселиться в его доме, находившемся на полпути между Петергофом и Ораниенбаумом», – рассказывала Екатерина Романовна. Однако усадьба Романа Илларионовича располагалась у Царскосельской дороги, на берегу Фонтанки^[86]. А «между Петергофом и Ораниенбаумом», вернее, в пяти верстах западнее резиденции великого князя был выстроен очаровательный дворец Sans Ennui – Нескучное, – преподнесенный Петром Федоровичем фаворитке Елизавете Воронцовой^[87].

Уже после переворота, упрекая младшую сестру за невнимание к старшей, Александр Воронцов писал нашей героине из Лондона: «Вы обязаны своей сестре... множеством мелких услуг; она... предложила вам дом, ей тогда подаренный»^[88]. Если чета Дашковых поселилась в Sans Ennui – имении, фактически принадлежавшем наследнику, – его слова становятся понятны. Хотите жить у сестры, приезжайте каждый день к моему двору.

Позднее Дашковой неприятно было вспоминать о помощи Елизаветы Романовны, ведь за признанием услуги следовал упрек в неблагодарности. Поэтому в «Записках» упомянут дом отца. Эта аккуратная поправка показывает, насколько внимательно княгиня относилась к фактам, попадавшим в ее мемуары. Она избегала малейшей шероховатости, способной зацепить внимание читателя и вызвать неудобные вопросы.

Столкнувшись с таким построением текста, трудно принять на веру дневниковую запись Марты Уилмот 25 августа 1804 г.: «В настоящее время княгиня очень усердно пишет свои “Записки”, и я наблюдаю, с какой быстротой она продвигается вперед. Вот она ведет долгие расчеты со своим старостой, затем пишет полстраницы, потом начнет улаживать ссору между двумя крестьянами, и снова – за перо. Ни на минуту не остановится она, чтобы обдумать, что хочет сказать или лучше построить предложение. Каждое слово ложится на бумагу также естественно, как ведется обычный разговор»^[89].

О каком памятнике это сказано? Уж точно не о том, который сейчас знаком читателям. Он носит на себе следы глубокой редактур, сделанной отнюдь не только ирландской подругой княгини, поработавшей над стилем. Марта плохо ориентировалась в русских реалиях полувековой давности, не чувствовала сопряженности мемуаров с целым полем отечественных источников и вряд ли могла понять многозначительные умолчания автора, немало говорящие современному исследователю.

Для внимательного источниковеда «Записки» выглядят так, как если бы из них были изъяты фрагменты, показавшиеся неудобными, а оставшийся текст заново переписан и сглажен, дабы не вызывать лишних вопросов. Предполагает ли это существование более раннего варианта, ныне утраченного? Был ли он в действительности сожжен мисс Уилмот при отъезде из России, как она сообщала? Или погиб по желанию самой княгини в процессе работы над воспоминаниями? Ответов нет. В настоящий момент мы можем только предположить, где находятся зияющие пустоты, и на свой страх и риск заполнить их информацией из других источников.

«Сок из лимона»

По словам Дашковой, она постаралась всячески уклониться от посещений великого князя и при случае пользоваться именно обществом цесаревны, «которая оказывала мне такое внимание, каким не удостоивала ни одну из дам, живших в Ораниенбауме». Заметив дружбу двух начитанных женщин, Петр однажды отвел Дашкову в сторону и произнес знаменитую фразу: «Дочь моя, помните, что благоразумнее иметь дело с такими простаками, как мы, чем с великими умами, которые, выжав весь сок из лимона, выбрасывают его вон»¹⁰. По мнению мемуаристки, эти слова «обнаруживали простоту его ума и доброе сердце».

А вот Екатерина сразу почувствовала угрозу. Молодую даму, на преданность которой она рассчитывала, пытались перетянуть во враждебную группировку. «Я не понимаю, за что хотят выставить меня неблагодарной, – писала она Дашковой, – когда я нисколько не боюсь представить много примеров совершенно другого рода, и, думаю, что даже ваша сестра не станет отвергать их»^[90]. Елизавета Воронцова действительно была кое-чем обязана великой княгине, например, крупным денежным содержанием, которое стала получать, уладив ссору Петра с любовником царевны Станиславом Понятовским. Поэтому Екатерина в письме к Дашковой с полным основанием продолжала: «Я готова была бы побраниться со всеми, кто осмелился бы не признать меня вашим другом».

Живя в Ораниенбауме, на приволье, наследник задавал свои любимые праздники в летних лагерях, где много курили, пили пиво, говорили по-немецки и играли в кампи. Такие развлечения казались Екатерине Романовне глупыми и скучными. К счастью для нее, сестра-фаворитка не настаивала, чтобы Дашкова наносила ей частые визиты.

«Как это времяпрепровождение отличалось от тех часов, которые мы проводили у великой княгини, где царили приличие, тонкий вкус и ум! – восклицала княгиня. – Ее императорское высочество относилась ко мне с возрастающим дружелюбием; зато и мы с мужем с каждым днем все сильнее и сильнее привязывались к этой женщине, столь выдающейся по своему уму, по своим познаниям, и по величю и смелости своих мыслей»^[91].

В одной из автобиографических зарисовок Екатерина II так описывала Дашкову этого времени: «Она была младшей сестрой любовницы Петра III и 19 лет от роду, более красивая, чем ее сестра, которая была очень дурна. Если в их наружности вовсе не было сходства, то их умы разнились еще более: младшая с большим умом соединяла и большой смысл; много прилежания и чтения, много предупредительности по отношению к Екатерине¹¹ привязывали ее к ней сердцем, душою и умом»^[92].

Раз в неделю Екатерине позволялось навещать царевича Павла, который оставался с бабушкой-императрицей в столице. «В те дни, когда она знала, что я нахожусь в Ораниенбауме, – отмечала Дашкова, – она на обратном пути из Петергофа останавливалась у нашего дома, приглашала меня в свою карету и увозила к себе; я с ней проводила остаток вечера. В тех случаях, когда она сама не ездила в Ораниенбаум, она меня извещала об этом письмом, и таким образом между великой княгиней и мной завязалась переписка и установились доверчивые отношения, составлявшие мое счастье»^[93].

Помня прежние рассказы нашей героини о семейной близости с августейшими особами, впору предположить, что и дружба с Екатериной расцвечена и преувеличена княгиней. К счастью, сохранились записки будущей императрицы 1761–1762 гг., адресован-

¹⁰ Ничего похожего великий князь не говорил. Дашкова позаимствовала эту фразу, впоследствии так приглянувшуюся литераторам, из книги французского памфлетиста К. Рюльера, описавшего Екатерину II. Выражая согласие с данной характеристикой и намекая на собственную судьбу, княгиня вставила слова о лимоне в диалог с наследником.

¹¹ В этом отрывке Екатерина II писала о себе в третьем лице. I

ные подруге. Послания самой Дашковой были сожжены осторожной цесаревной. Публикуя «цидулки» Екатерины, Марта Уилмот заметила, что они чудом «избежали пламени». Однако, зная трепетное отношение Дашковой ко всему, что исходило из рук Екатерины II и указывало на их взаимную близость, легко понять: чудо ни при чем. Княгиня намеренно сохранила 26 записок и предъявила их потомкам, точно знала, что настанет момент, когда ее дружба с императрицей окажется под сомнением.

Записки неоспоримо доказывают, что в короткий период накануне переворота двух женщин связывали самые горячие сердечные чувства. «Для меня так дорого ваше доброе расположение, что я решительно умираю со скуки, когда вы оставили меня, – писала Екатерина. – Поистине трудно найти вам равную». «И сердцем, и головою отдаю Вам полную справедливость». «Надеюсь, вы не усомнитесь в моих чувствах». «В ваших руках все получает значение и интерес». «Как беспредельно я должна любить вас! Но этого мало; я глубоко уважаю вас, и в этом чувстве всякий, кто знает вас и хоть чуть-чуть способен отличать вещи, должен согласиться со мной». «Ваша верность и любовь, неоцененная княгиня, глубоко трогают меня, и я почти себя счастливой, если хоть несколько сумею отблагодарить вас». «Добродетель – первая черта вашего характера. Можно сказать, что я люблю и уважаю вас за нее; это чувство разделяют со мной все, кто знает вас». «Нельзя не восхищаться вашим характером». «Я была бы недостойна вашей любви, если б не сочувствовала ежедневно доказательством ее. Нет, из моего сердца никогда не изгладятся эти впечатления»^[94].

Тон Екатерины восторжен, местами даже лествичен. Становится ясно, что будущая императрица очень хотела удержать возле себя юную княгиню. Зачем? Одну причину мы уже назвали: сведения из враждебного клана Воронцовых. Однако было и другое важное обстоятельство, заставлявшее цесаревну очень дорожить близостью с Дашковой. Вернее – с Дашковыми.

Михаил Иванович служил сначала штабс-капитаном Преображенского полка, затем вице-полковником лейб-Кирасирского. Шефом последнего являлся великий князь, затем император Петр III. В полк отобрали наиболее преданных офицеров, и тот факт, что среди них высокое место занял зять фаворитки, указывает на доверие, которое государь питал к Дашкову. 28 июня, во время переворота, кирасиры не поддержали сторонников Екатерины II. «Дело дошло почти до драки между созданным императором лейб-Кирасирским полком, очень ему преданным, и конной гвардией»^[95], – писал датский дипломат Андреас Шумахер. Служивых удалось нейтрализовать, сказав, будто Петр III умер. «Явился кирасирский полк, – рассказывал придворный ювелир Иеремия Позье, – состоявший из трех тысяч самых лучших солдат, которые только имелись в войске... Если бы этот полк остался верен императору, то он мог бы перебить всех солдат, сколько бы их ни было в городе»^[96]. А если бы поддержал заговорщиков? Привлекая на свою сторону вице-полковника кирасир, Екатерина, в первую очередь, старалась распространить свое влияние на его подчиненных. Успеху мешал отъезд князя Дашкова весной 1762 г. послом в Константинополь. Задержись он в столице, и поведение полка могло быть иным.

Записки цесаревны к подруге показывают, как Екатерина незаметно втягивала Дашкова в свой круг, используя самые незначительные поводы: «Передайте князю мой поклон за его приветствие, которое он отдал мне, проходя под моим окном. Ваше обоюдное расположение ко мне вдвойне радует меня». Ее письма неизменно заканчивались приветами мужу подруги: «Тысячу всевозможных добрых желаний князю». «Дружба, благодарность и уважение – все связи, соединяющие меня с вами, я пополам делю с нашим великим послом». Даже накануне отъезда Михаила Ивановича к новому месту службы Екатерина просила подругу уведомить его о вспышках энтузиазма, с которым народ встречал молодую императрицу на улице, т. е. говорила с ним как с человеком своей партии.

В небольшом автобиографическом отрывке, продиктованном в 1780-х гг. статс-секретарю А.А. Безбородко, императрица сообщала о тех далеких днях: «К князю Дашкову же езжали и в дружбе и согласии находились все те, кои потом имели участие в моем восшествии яко то: трое Орловы, пятеро капитаны полку Измайловского и прочие; женат же он был на сестре Елизаветы Воронцовой, любовницы Петра III. Княгиня же Дашкова от самого почти ребячества ко мне оказывала особливую привязанность, но тут находилась еще персона опасная, Семен Романович Воронцов, которого Елизавета Романовна, да по ней и Петр III, чрезвычайно любили. Отец же Воронцовых, Роман Ларионович, опаснее всех был по своему сварливому и перемечливому нраву; он же не любил княгиню Дашкову»^[97].

Из этой зарисовки видно, что у супругов Дашковых собирались недовольные офицеры и их дом мог стать штаб-квартирой заговорщиков, если бы не опасения насчет родных княгини. В день переворота Семен Воронцов сохранил верность Петру III и запоздало вспомнил разговоры у сестры. «Вся важность измены... стала мне более понятна... так как я знал кое-какие обстоятельства»^[98], – писал он. Подозревая брата подруги, императрица была права, а вот князь Михаил Иванович воспринимался ею как абсолютно преданный человек. Его отъезд в качестве посла больно ударил по сторонникам Екатерины.

Куртуазная любовь

Итак, наша героиня была важна для будущей самодержицы благодаря родне и мужу. А сама по себе? Тут нас ожидает очередное умолчание, которыми так богаты мемуары княгини. Из «Записок» Дашковой создается впечатление, будто она являлась единственной подругой цесаревны, во всяком случае, самой близкой. Этот взгляд начал утверждаться еще при жизни императрицы, и та посчитала нужным опровергнуть его в своих воспоминаниях, рассказав о многолетней дружбе с княжной Марией Яковлевной Долгорукой (в замужестве княгиней Грузинской).

«Никогда женщина не заслуживала большего счастья, чем она, – писала императрица, – это была одна из редких личностей по ее замечательной кротости, чистоте ее нравов и доброте сердца; труднее сказать, какого качества ей недоставало, чем перечислить все ее добродетели; никогда женщина не была так уважаема всеми без исключения... это уважение к ней со временем только возросло бы, если б она не умерла в цвете лет 25 декабря 1761 г., в самый день кончины императрицы Елисаветы. Я ее искренно оплакивала, ибо не было такого знака дружбы и привязанности, которого бы эта достойная женщина не выказывала мне в течение всей своей жизни, и, если б она дожила до моего восшествия на престол, которого она ожидала с таким нетерпением, она, конечно, заняла бы выдающееся место при мне; это был друг верный, разумный, твердый, мудрый и осторожный. Я никогда не знала женщины, которая соединяла бы в себе такое количество различных достоинств, и если б она была мужчиной, о ней говорили бы восторженно»^[99].

Перед нами развернутое возражение тексту мемуаров Дашковой. Возможно, их ранние, не дошедшие до нас, фрагменты попали в руки государыни. А, возможно, благодаря многолетнему общению, Екатерина II хорошо знала, как старая подруга «подает себя».

Была ли княгиня знакома с Марией Яковлевной? Неизвестно. Во всяком случае, она не дала ей места на страницах «Записок». Прошлое – для двоих. Остальные – лишние. Перед нами тот же ход, что и в рассказе о серьезном чтении, которым якобы занимались только две Екатерины. Не стоит сразу обвинять Дашкову во лжи. Во-первых, ее мемуары не просто повествовали о былом, а выстраивались строго в соответствии с определенной задачей: показать идеальный образ героини – жены, матери, подруги, государственного деятеля. То есть несли многие черты художественного произведения.

А, во-вторых, Екатерина Романовна *так видела*. И не сама ли цесаревна внушила Дашковой мысль об ее исключительной роли? Рюльер писал: «Значительные особы убеждались по тайным с нею связям, что они были бы гораздо важнее во время ее правления... многим показалось, что при ее дворе они вошли бы в особенную к ней милость». Таков был стиль Екатерины. Она у каждого из сторонников создавала иллюзию преимущественного влияния, а на самом деле влияла на них.

Дашкова рассказывала ту правду, которую видела своими глазами, не подозревая о существовании целого калейдоскопа иных правд. А когда, после переворота, открылись неприятные для княгини, «низкие истины», она предпочла остаться верна своему взгляду на вещи и передала его в «Записках».

Однако, говоря о коротком периоде дружбы, у нас есть возможность примирить рассказы обеих женщин. Судя по содержанию, большинство записок относятся к царствованию Петра III, т. е. возникли, когда Мария Яковлевна уже скончалась. Потеряв близкого человека, молодая императрица нуждалась в замене, и Дашкова заняла опустевшее место. Были и «тайные связи», о которых говорил Рюльер.

Внешняя, напускная куртуазность всей жизни в обществе накладывала и на дамскую дружбу особый отпечаток. Дуэт двух просвещенных женщин по незримым законам века дол-

жен был имитировать взаимоотношения двух различных полов. Ролевая игра «кавалер и дама» – строгая и сложная постановка, в которой талантливые актрисы могли достигнуть совершенства, а бездарные – погубить свою репутацию.

Если мы внимательно приглядимся к тому, как описана дружба двух Екатерин в мемуарах Дашковой, мы увидим значительные элементы этой игры. После первой же встречи, в январе 1759 г., великая княгиня подарила девице Воронцовой веер, который, упав из ее рук, был поднят собеседницей. Об этом случае рассказывала Марта Уилмот: «Она (княгиня. – О.Е.) страстно любила всякую безделицу, ценную по воспоминаниям, и хранила вместе с драгоценными вещами в шкатулке, всегда стоявшей в ее спальне... Последним из ее подарков был старый веер. Этот веер был в руках Екатерины в тот самый вечер, когда Дашкова встретила ее в первый раз. Великая княгиня, собираясь ехать домой, уронила этот веер, Дашкова подняла и подала его. Екатерина, обняв ее, просила принять его в воспоминание первого вечера, который они провели вместе, в залог неизменной дружбы. Эту ничтожную вещь княгиня ценила больше, чем все другие подарки, принятые впоследствии от императрицы; она хотела положить ее с собой в могилу. Отдавая мне этот веер, она промолвила: “Теперь вы поймете, как я люблю вас: я даю вам такую вещь, с которой я не желала расстаться даже в гробу”»^[100].

Комментаторы записок Дашковой обычно не придают эпизоду особого значения. Забавная часть дамского туалета, которую Екатерина Романовна из сентиментальных побуждений сохраняла всю жизнь и даже хотела унести с собой в мир иной. Однако в контексте светской культуры того времени веер и все, что с ним связано, играли немалую роль. Он являлся символом женственности, как шпага символизировала мужчину. Так называемый «язык веера» – его положение в руках у дамы – был полон для кавалера особого смысла. Оброненный красавицей, он мог быть поднят только ее обожателем, для которого намеренно уронили безделушку. А подаренный веер на любовном языке дорогого стоил.

Жест пожилой Дашковой – когда она, вместо того чтобы положить веер Екатерины II с собой в гроб, отдала его Марте, в дружбе с которой на склоне лет возродились чувства молодости, – исполнен особого, не всем понятного смысла.

Итак, игра среди роскошных декораций, опасное скольжение на грани дозволенного – возбуждали подруг. Между ними возникла переписка, в которой они обменивались поэтическими посланиями. Однако не стоит путать роли: стихи писала Дашкова, как и подобает «кавалеру», воздавая хвалу достоинствам «прекрасной дамы».

*Природа в свет Тебя стараясь произвести,
Дары свои на Тя едину истожила.
Чтобы наверх Тебя величества возвесть,
И награждая всем, она нас наградила.*

В ответ Екатерина Романовна получала самые лестные благодарности. «Какие стихи и какая проза! – восхищалась великая княгиня. – ...Я прошу, нет, я умоляю вас не пренебрегать таким редким талантом. Может быть, я не совсем строгий Ваш судья, особенно в настоящем случае, моя милая княгиня, когда Вы... обратили меня в предмет Вашего прекрасного сочинения»^[101].

После обмена пылкими посланиями новым этапом игры становилась личная встреча. Именно так и развивались события. «Я с наслаждением ожидаю тот день, который вы обещали провести со мной на следующей неделе, – писала Екатерина, – и при том надеюсь, что вы будете почаще повторять свои посещения, так как дни становятся короче»^[102].

На взгляд современного человека, не совсем ясен культурный подтекст, на основании которого «дамой» в ролевой игре становилась старшая из подруг, а «кавалером» – млад-

шая. В барочном театре, унаследовавшем многие традиции рыцарского романа, куртуазная любовь переносила ритуал вассальной присяги и верности на взаимоотношения полов и распределяла роли в пользу более высокого социального положения дамы, подчеркнутого еще и возрастом^[103]. Дамой становилась обычно супруга сеньора. Вспомним королеву Гвиневру, жену короля Артура, вассалом которого являлся Ланселот. Отпрысков благородных семейств часто отдавали на воспитание в дом более богатого и знатного родича, который впоследствии и посвящал мальчика в рыцари. Первые подвиги будущий воин совершал в честь жены сюзерена. Поэтому «прекрасная дама» часто была старше своего верного паладина^[104]. И роли в спектакле между Екатериной и Дашковой распределялись в полном соответствии с традицией.

Грань между игрой и жизнью порой оказывалась настолько тонкой, что сами актеры не всегда осознавали, с какой стороны находятся. В одном из переводов «Записок» Дашковой ее отношение к мужу и к Екатерине передано характерной фразой: «Я навсегда отдала ей (великой княгине. – *О.Е.*) свое сердце, однако она имела в нем сильного соперника в лице князя Дашкова, с которым я была обручена»^[105]. И далее: «Я была так привязана к ней, что, за исключением мужа, пожертвовала бы ей решительно всем»^[106].

Возникает ощущение, что сердце Екатерины Романовны оказалось разделено между двумя претендентами, и это поначалу не причиняло ей никаких страданий, поскольку соперники сосуществовали в двух различных мирах – реальном и воображаемом.

Для великой княгини граница была очень четкой. Как мы говорили, она никогда не забывала передать в записках поклон мужу Дашковой. Иначе осознавала ситуацию Екатерина Романовна. Молодая и порывистая, всегда готовая выйти за рамки любой игры, она болезненно ощущала ложную театрализацию чувств. Ее порывы приводили к некоторой путанице. С одной стороны, княгиня горячо любила мужа. С другой, была так восторженно и пылко предана Екатерине, что не понимала, как той может понадобиться кто-то другой, кроме нее!

Опасность

Вслед за обменом книгами и журналами подруги перешли к весьма неосторожному обмену мыслями, которые носили явный отпечаток государственных планов. «Вы ни слова не сказали в последнем письме о моей рукописи, – обижалась Екатерина. – Я понимаю ваше молчание, но вы совершенно ошибаетесь, если думаете, что я боюсь доверить ее вам. Нет, любезная княгиня, я замедлила ее посылкой лишь потому, что хотела закончить статью под заглавием “О различии духовенства и парламента”....Пожалуйста, не кажите ее никому и возвратите мне, как можно скорее. То же самое обещаюсь сделать с вашим сочинением и книгой»^[107].

Дашкова и сама направляла подруге заметки, касавшиеся «общественного блага», правда, не подписывая их, то ли из скромности, то ли из осторожности. Впрочем, Екатерина отлично понимала, кто автор понравившихся ей политических пассажей, и не скупилась на похвалы: «Возвращаю вам и манускрипт, и книгу. За первый я очень благодарна вам. В нем весьма много ума, и мне хотелось бы знать имя автора. Я с удовольствием бы желала иметь копию с этой записки... Это истинное сокровище для тех, кто принимает близко к сердцу общественные интересы»^[108].

Документы, о которых говорили подруги в переписке, не сохранились. Однако не трудно догадаться, чему они были посвящены. Рюльер писал о младшей племяннице канцлера: «Молодая княгиня с презрением смотрела на безобразную жизнь своей сестры и всякий день проводила у великой княгини. Обе они чувствовали равное отвращение к деспотизму, который всегда был предметом их разговора»^[109].

Обмениваясь планами будущих преобразований, наши дамы пустились в весьма опасную игру. Первой свою оплошность заметила Екатерина. В случае ознакомления с ее рукописями третьего заинтересованного лица, например, канцлера Воронцова, великой княгине грозили крупные неприятности. Она сама дала врагам материал, на основе которого можно было осуществить ее высылку. Поэтому, допустив неосторожный шаг, Екатерина испугалась.

«Несколько слов о моем писании, – обращалась она к Дашковой. – Послушайте, милая княгиня, я серьезно рассержусь на Вас, если Вы покажете кому-нибудь мою рукопись, исключительно вам одной доверенную... Скажите же мне по правде, неужели вы с этой целью продержали мои листки целые три дня, что можно было прочесть не более как в полчаса. Пожалуйста, возвратите их мне немедленно»^[110].

Рассуждения Екатерины о «разнице церкви и парламента», посланные Дашковой и с таким трудом возвращенные назад, не сохранились. Речь могла идти о нецелесообразности предоставления духовенству мест в гипотетическом парламенте, как это и произошло в Уложенной комиссии 1767 г. Тогда правительство Екатерины II опасалось, что после секуляризации церковных земель обиженные священнослужители попытаются оказать сопротивление ее политике.

Любопытный Рюльер отметил стремление семьи канцлера сблизить младшую племянницу с наследником: «Сестра ее, любовница великого князя жила, как солдатка, без всякой пользы для своих родственников, которые посредством ее ласкались управлять великим князем, но по своенравию и неосновательности видели ее совершенно неспособною выполнить их намерения. Они вспомнили, что княгиня Дашкова тонкостью и гибкостью своего ума удобно выполнит их надежды и хитро... употребили все способы, чтобы возвратить ее ко двору... Но так как она делала противное тому, чего от нее ожидали, то и была принуждена оставить двор с живейшим негодованием против своих родственников и с пламенной преданностью к великой княгине»^[111].

Таким образом, французский дипломат располагал сведениями, будто дядя-канцлер желал предложить Петру Федоровичу более умную и оборотистую племянницу, чем обожаемая «Романовна». Он намекал на обострение отношений княгини с фавориткой, что и привело к отъезду первой из Ораниенбаума. Эти слова Рюльера задела Дашкову, и в комментариях на его книгу она пометила: «Я не ссорилась с сестрой и могла легко руководить ею, а через нее и государем, ежели бы захотела принимать какое-либо участие в их отношениях друг к другу»^[112].

Если в словах Рюльера есть хоть тень правды, великая княгиня должна была очень испугаться перспективы появления у супруга вместо толстой и недалекой «Романовны» амбициозной, целеустремленной фаворитки. Она постаралась обольстить теску и возбудить в ее сердце горячую любовь. Ей удалось приковать чувства молодой княгини и превратить последнюю *в свою* любимицу.

Это не могло понравиться родне Екатерины Романовны. Судя по запискам, неясные признаки недовольства семьи проявились в конце лета 1761 г. Именно тогда Дашкова короткий период старалась избегать настойчивых приглашений цесаревны. Вероятно, дядя-канцлер намекнул, что от подобной дружбы страдает ее репутация.

«Что же касается до вашей репутации, она чище любого календаря святых, – посмеивалась Екатерина. – Я с нетерпением ожидаю нашего свидания». Но дамы явно заигрались. «Я только что возвратилась из манежа и так устала от верховой езды, что трясется рука; едва в состоянии держать перо, – сообщала цесаревна в другой записке. – Между пятью и шестью часами я намерена ехать в Катерингоф, где я переоденусь, потому что было бы неблагоприятно в мужском платье ехать по улицам. Я советую вам отправиться туда в своей карете, чтобы не ошибиться в торопливости своего кавалера и явиться в качестве моего любовника»^[113].

На английский манер

И что, спрашивается, должны были подумать родные? Обе просвещенные дамы жили в реальном мире и были окружены реальными людьми, далеко не всегда склонными мыслить театральными категориями. Нежные излияния подруг могли быть превратно истолкованы.

В вопросах дамских куртуазных игр русский двор, конечно, не имел опыта Версаля и тем более Лондона. Но и он, при всей своей патриархальности, к середине XVIII в. уже прошел кое-какие уроки подобного свойства. В самом начале 1740-х гг. трепетная дружба Анны Леопольдовны и ее фрейлины Юлианы Менгден была воспринята окружением императрицы Анны Иоанновны как противоестественная связь. Менгден подвергли медицинскому освидетельствованию с целью обнаружить физические отклонения, но, не найдя их, ограничились разлучением подруг. В короткий период правления «регентины» Анны Леопольдовны при младенце-императоре Иване Антоновиче «дрожащая Юлия» вернулась ко двору, и слухи вспыхнули с новой силой, тем более что фаворитка, ничуть не скрываясь, демонстративно захлопывала двери в спальню правительницы перед носом ее мужа принца Антона Ульриха Брауншвейгского^[114].

Первый серьезный дамский скандал, сотрясший русский двор на заре 1740-х гг., еще не был забыт, а посему нашим героиням вовсе не хотелось возбуждать своей театрализацией неприятные аналогии. Впоследствии, отдавая пылкую и несдержанную Дашкову, Екатерина, кроме прочего, имела в виду и сохранение своей репутации. Патриархальное общество потерпело бы фаворитов-мужчин, но не фавориток-женщин.

Была у дамских игр и другая сторона. Англomanия – любовь к Туманному Альбиону, преклонение перед его экономическими достижениями и фундаментальными законами – заметная часть русской культуры XVIII в. Н.М. Карамзин писал по этому поводу: «Было время, когда я, почти не видав англичан, восхищался ими, и воображал Англию самую приятнейшею для сердца моего землею... Мне казалось, что быть храбрым есть... быть англичанином – великодушным, тоже – чувствительным, тоже – истинным человеком, тоже. Романы, если не ошибусь, были главным основанием такого мнения»^[115].

Мода на все английское: вещи, наряды, книги, журналы, поведение в обществе – являлась выражением более глубокого общественного настроения – моды на британскую свободу. Перенимая английские приемы повязывать галстук или эпистолярные стили, русский дворянин XVIII в. заявлял о своих политических пристрастиях. Процесс внешнего копирования затронул и взаимоотношения полов.

Между тем английское протестантское общество накладывало на своих членов весьма жесткие моральные ограничения. Особенно много препятствий возникало для общения между юношами и девушками «из приличных семей». Там же, где сфера контактов между различными полами сведена до минимума, происходит расширение свободы общения внутри одного пола. Недаром именно эта сторона британской жизни так часто оказывалась под прицелом английских сатириков и карикатуристов XVIII в.

Феномен «любви по-английски», т. е. в рамках одного пола, был воспринят в России именно как проявление нравственной свободы. Таким образом, даже эта область частной жизни превращалась в символ общественных идеалов.

Ролевая игра «кавалер и дама» была не для слабонервных простушек, в ней просвещенные подруги, поклонницы либерализма и государственных реформ, преподносили обществу свой вызов. Искусство состояло как раз в том, чтобы не переступить черту и не подать повод к злословью. Наши героини сумели даже побалансировать на краю для остроты ощущений.

Возвращение в Петербург положило конец частым встречам наедине. Однако и в городе Дашковой удалось обратить на себя внимание. «Она поселилась в Петербурге, –

писал Рюльер, – ...обнаруживая в дружеских своих разговорах, что и страх эшафота не будет ей никогда преградою... Она гнушалась возвышением своей фамилии, которое основывалось на гибели ее друга»^[116]. Слова дипломата подтверждала и Екатерина II. «Так как она совсем не скрывала этой привязанности, – писала императрица о любви подруги, – и думала, что судьба ее родины связана с личностью этой государыни, то вследствие этого она говорила всюду о своих чувствах, что бесконечно вредило ей у ее сестры и даже у Петра III»^[117].

«Горячность в защиту истины»

Тем временем Екатерина обладала и другими сторонниками помимо Дашковой. Один из них – Григорий Григорьевич Орлов – появился в окружении цесаревны в 1759 г. Позднее, в «Записках» и отзывах княгиня станет говорить о знаменитых братьях как о невежественных солдатах низкого происхождения. И снова: *она так видела*, отказываясь принимать иную правду. Все, что не укладывалось в *ее* картину мира, отсекалось или объявлялось ложным.

Между тем дети новгородского губернатора генерал-майора Григория Ивановича Орлова обучались в Сухопутном шляхетском корпусе, по окончании которого Григорий был направлен поручиком в армейский пехотный полк. Трижды раненый при Цорндорфе, он не покинул поля боя и даже взял в плен флигель-адъютанта прусского короля графа Фридриха-Вильгельма Шверина. Вместе с ним Орлова направили залечивать раны в Кенигсберг, занятый русскими войсками^[118]. Прибыв в 1759 г. в Петербург, Григорий получил должность адъютанта при фельдмаршале П.И. Шувалове.

Орлов и Дашкова появились в окружении великой княгини почти одновременно и предназначались ею для общего дела, хотя и не знали друг о друге. Опять французский дипломат весьма точен: «Сии-то были две тайные связи, которые императрица (Екатерина. – О.Е.) про себя сохраняла, и как они друг другу были неизвестны, то она управляла в одно время двумя партиями и никогда их не соединяла, надеясь одною возмутить гвардию, а другую восстановить вельмож [против Петра]»^[119].

То, что молодая княгиня не ведала о гвардейских сторонниках своего обожаемого друга, не значит, будто наследник ни о чем не догадывался. Одна из часто мелькающих на страницах исследований сцена из мемуаров Дашковой говорит об обратном. Во время званого обеда на 80 персон, где присутствовала и Екатерина, великий князь «под влиянием вина и прусской солдатчины» позволил себе угрозу, ясную очень немногим. Полагаем, что сама героиня мемуаров до конца дней так и не осознала истинного смысла слов цесаревича.

«Великий князь стал говорить про конногвардейца Челищева, у которого была интрига с графиней Гендриковой, племянницей императрицы Елизаветы. ...Он сказал, что для примера следовало бы отрубить Челищеву голову, дабы другие офицеры не смели ухаживать за... родственницами государыни. Голштинские приспешники не замедлили кивками головы и словами выразить свое одобрение». О ком говорил Петр? Уж явно не о Челищеве с Гендриковой. У него под рукой имелись иная «родственница государыни» и иной «гвардейский офицер». Фактически цесаревич угрожал Орлову.

Не понимая этого, Дашкова подтолкнула разговор к крайне опасному вопросу. – Я никогда не слышала, – заявила она, – чтобы взаимная любовь влекла за собой такое деспотическое и страшное наказание...

– Вы еще ребенок, – ответил великий князь...

– Ваше высочество, – продолжала я, – вы говорите о предмете, внушающем всем присутствующим неизъяснимую тревогу, так как за исключением ваших почтенных генералов, все мы... родились в то время, когда смертная казнь уже не применялась.

– Это-то и скверно, – возразил великий князь, – отсутствие смертной казни вызывает много беспорядков...

– Сознаюсь... что я действительно ничего в этом не понимаю, но я чувствую и знаю, что ваше высочество забыли, что императрица, ваша августейшая тетка, еще жива».

Какая гордая речь! Недаром читатели до сих пор с замиранием сердца следят за выходами юной героини, веря каждому слову.

Чтобы прервать неприятный диалог, великий князь просто показал Дашковой язык. «Он делал это и в церкви по адресу священников, – замечала Екатерина Романовна. – ...Эта выходка доказывала, что он на меня не сердится».

Где и когда произошла описанная сцена? Согласно «Запискам», после возвращения из Ораниенбаума в Петербург. Но Камер-фурьерский журнал не показывает присутствия Дашковой при большом дворе. Путь туда был закрыт и «голштинским приспешникам» – «почтенным генералам» великого князя, набранным «из прусских унтер-офицеров или немецких сапожников». Их появление за императорским столом еще при жизни Елизаветы Петровны (пусть больной и отсутствующей) невозможно. Зато в загородной резиденции наследника они были желанными гостями. Там же появлялась и чета Дашковых.

Таким образом, описанный случай относился еще к лету и вряд ли мог получить широкий резонанс в городе. Но княгиня настаивала: «Так как среди приглашенных было много гвардейских офицеров...то этот разговор стал вскоре известен всему Петербургу и вызвал всеобщие и преувеличенные похвалы по моему адресу. ...Этому маленькому обстоятельству... я обязана тем, что у меня составила репутация искренней и твердой патриотки, и, благодаря этому, некоторые офицеры, не колеблясь, облекли меня своим доверием»^[120].

Последнее спорно. 24 января 1763 г., в Москве, состоялась свадьба фрейлины Варвары Симоновны Гендриковой (троюродной сестры Дашковой по линии тетушки) и подпоручика Алексея Богдановича Челищева. На церемонии княгиня не присутствовала, хотя были приглашены многие ее родные^[121]. Объяснить случившееся грядущей опалой нельзя – до майского дела Хитрово императрица старалась внешне сохранять видимость дружбы с Дашковой. Скорее всего, Гендрикова и Челищев не знали, что полтора года назад Екатерина Романовна заступалась за них.

Княгиня по обыкновению предала слишком громкий резонанс своей стычке с Петром Федоровичем. В ее глазах это был гражданский поступок. В глазах окружающих – забавное недоразумение, о чем и свидетельствует записка Екатерины, посвященная этому спору: «Я не могу не улыбаться, думая о вашем доказательстве, очень честном с вашей стороны, против такого слабого противника. Ваша горячность в защиту истины и справедливость не будет забыта»^[122].

Ночное рандеву

Сгорая от нетерпения, княгиня сама решила разузнать у Екатерины ее планы. «20 декабря, в полночь, я поднялась с постели, завернулась в теплую шубу и отправилась в деревянный дворец на Мойке, где тогда жила Екатерина... Я нашла ее в постели... “Милая княгиня, – сказала она, – прежде чем вы объясните мне, что вас побудило в такое необыкновенное время явиться сюда, отогрейтесь...” Затем она пригласила меня в свою постель и, завернув мои ноги в одеяло, позволила говорить. “При настоящем порядке вещей, – сказала я, – когда императрица стоит на краю гроба, я не могу больше выносить мысли о той неизвестности, которая ожидает вас... Неужели нет никаких средств против грозящей опасности, которая мрачной тучей висит над вашей головой?.. Есть ли у вас какой-нибудь план, какая-нибудь предосторожность для вашего спасения? Благоволите ли вы дать приказания и уполномочить меня распоряжением?” Великая княгиня, заплакав, прижала мою руку к своему сердцу... “С полной откровенностью, по истине объявляю вам, что я не имею никакого плана, ни к чему не стремлюсь и в одно верю, что бы ни случилось, я все вынесу великодушно...” “В таком случае, – сказала я, – ваши друзья должны действовать за вас. Что же касается до меня, я имею довольно сил поставить их всех под ваше знамя, и на какую жертву я не способна для вас? ...Если б моя слепая любовь к вам привела меня даже к эшафоту, вы не будете его жертвой”»^[123].

Обратим внимание, как пассивно выглядит Екатерина под пером подруги. Зачем нужен храбрый рыцарь, если его возлюбленная начнет сама себя спасать?

Итак, княгиня просила будущую императрицу перепоручить ей объединение сторонников и организацию переворота. При этом она столь поспешно закончила разговор, точно боялась отказа: «Великая княгиня, вероятно, продолжала бы и упрекнула меня в неопытности и юношеском энтузиазме, но я, прервав, поцеловала ей руку и уверила, что нет надобности долее рисковать продолжением этого свидания. Тогда она горячо обняла меня, и мы несколько минут оставались в объятиях друг друга; наконец, я встала с постели и, оставив взволнованную Екатерину, поспешила к своей карете».

Для 19-летней заговорщицы вполне извинительно видеть себя маленьким фельдмаршалом, не позволявшим любимому предмету даже слова вставить в намеченный план. Но эти строки принадлежат 60-летней опытной женщине, многократно убеждавшейся, каким деятельным и предусмотрительным политиком была Екатерина II. Тем не менее...

Князь П.А. Вяземский говорил о вернувшихся из ссылки декабристах, что они ведут себя так, будто после 14 декабря никогда не наступило 15-е. В приведенном отрывке Дашкова рисует императрицу, словно 28 июня ее глаза не открылись, и она не увидела подругу в окружении плотной толпы *других* заговорщиков. Возможно, мемуаристка захотела тут же зажмуриться и вернуться в уютное время, когда между нею и государыней никто не стоял.

Рассказ о ночном свидании вызывает много вопросов. Сюжетно он повторяет историю с походом Дашковой к больному супругу в Москве. Мы уже обращали внимание, что муж и подруга занимали в сердце княгини как бы одно место, поэтому жертвенная любовь и рискованные поступки в отношении них естественны.

Настораживает точная дата рандеву – 20 декабря. Обычно Екатерина Романовна указывала время приблизительно, путалась, переставляла происшествия местами. У нее была слабая память на числа, поэтому при подготовке «Записок» она просила брата Александра Романовича прислать ей нечто вроде хронологической таблицы важнейших событий екатерининского царствования^[124].

Появление точной даты в «Записках» княгини должно всегда обращать на себя внимание читателя. Следует знать, что перед кончиной Елизаветы Петровны вокруг дворца были

выставлены удвоенные караулы. Возможно, мемуаристка показывала, что успела проскользнуть к подруге еще до них.

Кроме того, за Екатериной следили, и та всячески отговаривалась от встреч: «Я считаю крайней глупостью бросаться очертя голову в руки врагов. Если мои друзья не могут безопасно видеть меня, я хотела бы лучше лишиться удовольствия встречаться с ними, чем приносить их в жертву своего эгоистического желания». Теперь понятно, что за упрек цесаревна могла сделать подруге, и нежелание последней остаться на минуту дольше.

Имелось еще одно событие, которое следовало опередить, иначе честь первого разговора с великой княгиней становилась не безусловной. Оно опущено в «Записках» Дашковой, зато сохранилось в мемуарах Екатерины II. «При самой кончине Государыни Императрицы Елизаветы Петровны прислал ко мне князь Михаил Иванович Дашков, тогдашний капитан гвардии, сказать: “Повели, и мы тебя возведем на престол”. Я приказала ему сказать: “Бога ради, не начинайте вздор; что Бог захочет, то и будет, а ваше предприятие есть ранновременная и не созревшая вещь”»^[125].

Для логики выстроенного в «Записках» образа важно, чтобы ночной разговор между подругами состоялся раньше, чем прозвучали аналогичные предложения от других сторонников.

Любопытно, какая из встреч состоялась в реальности? Или произошли сразу два разговора? Императрица ни слова не писала о беседе с подругой. Дашкова же молчала о муже. Но в одной из записок советовала Екатерине вступить с ним в переговоры. Та отвечала: «Князь Дашков знает, что я не могу видеть его иначе, как в обществе, и говорить с ним открыто»^[126]

Гвардейский офицер, ссылаясь на служебную надобность, мог появиться во дворце даже после усиления караулов. А вот приезд его жены был ничем не мотивирован.

Если принять обе версии, то княгиня и ее супруг станут дублировать действия друг друга, исполнять одну и ту же роль. А мы видели, что Екатерина Романовна всячески старалась избежать «совместничества», как тогда говорили. Она предпочитала соло. Также как на страницах «Записок» существует одна подруга государыни, должен был остаться один распорядитель заговора.

Михаилу Ивановичу супруга отвела роль восторженного зрителя. «Он... рукоплескал моей энергии... попросив только не подвергать здоровья опасности». Оставляем правдоподобность такой сцены на совести мемуаристки. Важно констатировать, что накануне смерти Елизаветы Петровны чета Дашковых пыталась подтолкнуть будущую императрицу к решительному шагу.

Екатерина повела себя осторожно, не сказав ни «да», ни «нет». В одной из ее записок к подруге есть строки: «Я сделаю с своей стороны все, что от меня зависит, в пользу вашего плана; но я думаю, что много я сделать не могу»^[127]. Иными словами: действуйте сами, на свой страх и риск. И это когда под рукой у будущей императрицы уже вызревал заговор. Очевидно, она опасалась, что горячий энтузиазм Дашковой выплеснется через край и о происходящем окажется известно окружению Петра. «От княгини приходилось скрывать все каналы тайной связи»^[128], — с раздражением сказано в письме С. Понятовскому.

Однако и предложение Михаила Ивановича не было принято как «ранновременное». Могло ли выступление увенчаться успехом? Секретарь датского посольства Андреас Шумахер сообщал: «За 24 часа до смерти императрицы были поставлены под ружье все гвардейские полки. Закрылись кабаки. По всем улицам рассеялись сильные конные и пешие патрули. На площадях расставлены пикеты, стража при дворце удвоена. Под окнами нового императора разместили многочисленную артиллерию... и лишь по прошествии восьми дней ее убрали»^[129].

Стало быть, сторонники Петра опасались сопротивления. И были к нему готовы. Екатерина благоразумно отложила решительные действия до того момента, когда супруг почувствует себя в безопасности и расслабится.

«Бес, а не женщина»

25 декабря императрица Елизавета скончалась. Рождество для жителей Петербурга было печальным. Дашкова писала, что не выходила из комнат «под предлогом нездоровья». На третий день после восшествия на престол Петр III прислал к ней «посла», «желая видеть... вечером во дворце», на завтра приглашение повторилось. Наконец, спустя три дня, «сестра уведомила меня, что государь сердится на мои отказы». Пришлось ехать.

30 декабря «как только я появилась на глаза императора, он стал говорить со мной о предмете, близком его сердцу, и в таких выражениях, что нельзя было больше сомневаться насчет будущего положения Екатерины. Он говорил шепотом, полунамеками, но ясно, что он намерен был лишить ее трона и возвести на ее место *Романовну*, то есть мою сестру». В заключение Петр сказал княгине: «Если вы, дружок мой, послушаетесь моего совета, то дорожите нами немного побольше; придет время, когда вы раскаетесь за всякое невнимание, показанное вашей сестре... вы не иначе можете устроить вашу карьеру в свете, как изучая желания и стараясь снискать расположение и покровительство ея»^[130].

Создается впечатление, будто молодой государь проявлял большую заинтересованность в сестре фаворитки: трижды посылал за ней, а потом взялся втолковывать, как опрометчиво она ведет себя, избегая его общества. Действительно, в первые месяцы нового царствования Петр поддерживал надежду клана Воронцовых стать альтернативной «семьей императора». Благодаря супруге канцлера – двоюродной сестре покойной государыни – он именовал их родственниками, подчеркивал близость к августейшей фамилии. Роман Илларионович возглавил комиссию по составлению нового Уложения^[131]. Александр Романович был назначен полномочным министром в Лондон. Анна Карловна получила богатые имения на Волге и была пожалована орденом Св. Екатерины I степени (большого креста). Муж Дашковой фактически возглавил кирасирский полк.

Петр явно рассчитывал на родню «Романовны» и старался вернуть заблудшую овечку в стадо. Но вот чтостораживает: Камер-фурьерский журнал опять не зафиксировал присутствия Дашковой при дворе¹². Только однажды, 23 февраля, по случаю дня рождения императора, она вместе с мужем появится за столом новой государыни в ее внутренних покоях, среди 12 приглашенных^[132]. Но не за столом у самого Петра III.

Предложение строить «карьеру в свете», изучая желания «Романовны», должно было оскорбить княгиню. Ведь она давно решила ни от кого не зависеть и самостоятельно добиться успеха. А тут ей советовали стать «низкой служанкой». И чтобы в корне пресечь подобные упования, Дашкова немедленно показала себя «несносной причудницей».

Она сообщала, что постаралась отвлечь государя от разговоров о сестре, подойдя к карточному столу. «В этой игре каждый имеет несколько *жизней*; кто *переживет*, тот и выигрывает. На каждый очок ставилось десять червонцев, сумма слишком щедрая для моего кошелька, особенно когда император проигрывал, он вместо того, чтоб отдать свою *жизнь*, согласно с правилами игры, вынимал из кармана империял, бросал его на пульку, и с помощью этой уловки всегда оставался в выигрыше»^[133].

¹² Подробный анализ Камер-фурьерских журналов, показывающих появление Е.Р. Дашковой при дворе, проведен в работах Л.В. Тычиной и Н.В. Бессарабовой (Княгиня Дашкова и императорский двор, М., 2006. «...Она была рождена для больших дел». Летопись жизни княгини Е.Р. Дашковой. М., 2009). Последнюю из этих книг можно назвать биохроникой княгини, в ней собран богатый материал о повседневных событиях, письмах и встречах Екатерины Романовны. На основе «Записок» авторы склонны предполагать участие своей героини в тех эпизодах, о которых умалчивает Камер-фурьерский журнал, что объясняется неполнотой источника. На наш взгляд, доверять все-таки следует журналу, создававшемуся сразу вслед за событием, а не мемуарам, написанным через много лет.

Рассказ о «проигранных жизнях» Петра III вызывал ненужные ассоциации, поэтому в другой редакции повествование об игре в кампи построено иначе: «Всегда выигрывал император, так как он не брал фишек, и когда проигрывал, то вынимал из кармана империялов, чтобы покрыть им пульку, но так как у него в кармане было, конечно, более десяти империялов, то он всегда, в конце концов, срывал пульку». Сыграв одну партию, Дашкова наотрез отказалась участвовать во второй. «Я, напустив на себя ребячески глупый вид, ответила, что недостаточно богата, чтобы позволить так обирать себя»^[134]. Этот пример показывает, как сглаживался и приобретал новое звучание текст, весьма символический по сути. Ведь Петр, бросая империял, как бы выкупал проигранную жизнь. Позднее, уже находясь в Ропше и не имея денег, арестованный государь попросит взаймы у Алексея Орлова, и тот вручит ему для игры именно золотой империял. Но тогда, для того чтобы поправить ситуацию, монетки было недостаточно...

«Обыкновенные участники карточных вечеров Петра III... все с удивлением взглянули на меня, – писала Дашкова, – и когда я вырвалась из их круга... произнесли: “Это бес, а не женщина”». (В другой редакции: «Вот мужественная женщина!») И снова Камер-фурьерский журнал разочарует нас, не указав княгиню в числе приглашенных к карточному столу. Неверно полагать, будто младшая сестра фаворитки, известная дружбой с опальной государыней, не считалась значительной персоной, чтобы называть ее среди участников игры. Камер-фурьерский журнал в соответствии со своим назначением фиксировал *всех*, прибывших ко двору. А карточная игра императора – слишком важное этикетное событие, чтобы пропускать его участников. Приглашение к ней – особая милость, о которой иностранные министры сообщали своим дворам. Оно подчеркивало статус вельможи, его близость к монарху. И Дашкова, рассказывая о том, как Петр III безуспешно добивался ее участия в следующей пулке, даже предлагал играть «пополам» с ним, мыслила в названном русле. Карточный стол был также важен для нее, как и обеденный. Место за ним – знаковое.

Итак, согласно «Запискам», за Екатериной Романовной охотились оба претендента на престол. Одного она отвергала, к другому тянулась. В конечном счете выиграл именно тот, с кем осталась княгиня. Таков подтекст.

А на деле? Если в Камер-фурьерском журнале наша героиня не отмечена за карточным столом, стало быть, ее там не было. Она могла услышать историю о жульничестве императора и, как многие мемуаристы, сделать себя участницей интересного эпизода.

Где же в действительности побывала молодая княгиня? «Все придворные и знатные городские дамы, соответственно чинам своих мужей, должны были поочередно дежурить в той комнате, где стоял катафалк», – сообщала Екатерина Романовна. Вероятно, «посол» из дворца трижды приглашал Дашкову именно на траурное дежурство. И выговор императора был вызван промедлением княгини встать в печальный караул.

«Как настоящий капрал»

Но вот что в действительности имело место, так это ссора Петра III с мужем Дашковой. «Однажды, в первой половине января, утром, – писала Екатерина Романовна, – в то время как гвардейские роты шли во дворец и на вахтпарад и на смену караула, императору представилось, что рота, которой командовал князь, не развернулась в должном порядке. Он подбежал к моему мужу, как настоящий капрал, и сделал ему замечание. Князь... ответил с такой горячностью и энергией, что император, который о дуэли имел понятие прусских офицеров, счел себя, по-видимому, в опасности и удалился также поспешно, как и подбежал»^[135].

В другой редакции сказано: «Дашков... встревоженный выговором, где замешивалась его честь, ответил так энергично и жестко, что Петр немедленно дал ему отставку, по крайней мере, также поспешно, как возвысил его».

О каком возвышении речь? Это еще одна лакуна в «Записках», поскольку прежде автор ничего не говорил о переходе мужа в лейб-Кирасирский полк. Иначе встал бы вопрос о неблагодарности за пожалование высокого чина. Нарисована сразу картина отставки вкупе с грубым выговором императора, задевавшим достоинство князя. Здесь уже благодарить не за что, и поведение четы заговорщиков не вызывает моральных нареканий.

Вверяя зятю фаворитки Кирасирский полк, молодой император имел в виду укрепление собственной власти. Он не любил гвардейцев, называл их «янычарами», которые только «блокируют столицу». Поэтому, с его точки зрения, было логично вывести из состава старых полков «лучших» солдат, соединить их в особую часть и поручить команду доверенному лицу.

Мы видели, что на первых порах Петр обманулся – Дашков тяготел к другому лагерю. Но после издания Манифеста о вольности дворянства 18 февраля 1762 г. князь заколебался в выборе покровителя. Екатерина II рассказывала в мемуарах, что через три недели по кончине Елизаветы Петровны она, как обычно, направлялась к телу слушать панихиду. В передней ей встретился Дашков, плакавший от радости. На расспросы он отвечал: «Государь достоин, дабы ему воздвигли штатую золотую; он всему дворянству дал вольность»^[136]. Одним указом Петр купил дворянские сердца.

Но император все испортил сам. Можно сказать, что он *слишком* любил кирасир, чтобы они чувствовали себя в безопасности. Тяжелая кавалерия была лучшей частью прусской армии – т. н. голубые кирасиры Фридриха II – ударной силой, не раз приносившей победу. Еще в бытность наследником Петр шефствовал над гвардейскими т. н. желтыми кирасирами, которые выказывали ему преданность. В письме прусскому королю 15 мая 1762 г. император рассказывал, как цесаревичем слышал от солдат: «Дай Бог, чтобы вы скорее были нашим государем, чтобы нам не быть под владычеством женщины»^[137]. Получив корону, Петр предпочитал позировать художникам в форме генерала кирасирского полка, а не в преображенском мундире.

Однако это не значило, что государь во всем доволен любимым родом войск. Созданная им Воинская комиссия пришла к выводу, что отечественная кавалерия уступает прусской. Легкую конницу – драгун, улан и гусаров – Петр III не принимал всерьез, а тяжелая была не слишком развита. П.А. Румянцев, отстаивая полезность драгун, писал государю: «Кирасирские и карабинерные полки посажены сколько на дорогах, столько и на деликатных и тяжелой породы лошадях, которые больше на парад, нежели к делу способны. Во всю кампанию надобно им было запасать сухой фураж, поелику на полевом корме они изнуряются»¹³.

¹³ Легкая конница использовала недорогих, невысоких лошадей местных пород из татарских и казачьих табунов, которые были выносливы, питались подножным кормом и поэтому дешево обходились полковой казне. Однако они не могли

Для сего в прошедших операциях и нельзя было той пользы произвести нашей кавалерии, к которой могла бы она иметь случай»^[138].

Не желая учитывать местных условий – т. е. отсутствия в России собственных лошадей крупных пород – Петр запланировал перед войной с Данией создать 25 новых полков тяжелой кавалерии. Нехватка денег сократила их число до 12, но и те были переименованы из драгунских. Их предстояло снабдить иным вооружением и переучить на прусский лад.

Начинать следовало, конечно, с собственного гвардейского полка, долженствовавшего служить примером. И Петр добился несомненных успехов там, где речь шла о внешней, плацевой стороне выучки. Одним из наиболее известных кирасирских полков еще во времена Анны Иоанновны был т. н. Минихов полк. Теперь 79-летний фельдмаршал, возвращенный императором из ссылки, не уставал умиляться. Учитель Петра III Якоб Штелин записал: «Видит батальон гвардии, идущий мимо его окон на часы, и марширующий по-новому образцу, и, полный удивления, говорит: “Ей-богу, это для меня новость! Я никогда этого не мог достигнуть!” При первом посещении делает императору комплимент этим признанием. Император берет его с собой в парад, где он дивится еще более»^[139]. Нехитрый путь к августейшему сердцу! Перед таким зрителем Петр не хотел ударить в грязь лицом, поэтому выговор Дашкову за «неправильный марш» вполне объясним.

Желая подтянуть обленившихся гвардейцев, император налегал на муштру. Досталось и офицерам. Шумахер писал о государе: «Он обращался с пропускавшими занятия офицерами почти столь же сурово, как и с простыми солдатами. Этих же последних он часто лично наказывал собственной тростью из-за малейших упущений в строю»^[140]. Ассбург добавлял: «Случалось, что на ежедневных учениях солдаты падали от изнеможения, и Петр приказывал их убирать, а на их место ставить других»^[141]. Точно люди были заводными куклами. «Часто случалось, что этот государь ходил смотреть на караул и там бил солдат или зрителей»^[142] – вспоминала Екатерина II.

Если рядовых император охаживал тростью, то на офицеров мог замахнуться, как впоследствии поступал его сын Павел I. Поэтому в тексте Дашковой вовсе не случайно возникает образ дуэли, символизировавшей готовность к цареубийству, ради сохранения чести.

вынести тяжеловооруженного всадника и не годились «под кирасир». Для последних закупали чистокровных немецких коней, которые оказались в походе весьма капризны – им, как и людям, требовалось запастись провиант.

«Порыв ревности»

Родные Екатерины Романовны пришли к здравому выводу, «что император не всегда будет отступать перед моим мужем, и что найдутся люди, которые объяснят государю, что он имеет полную возможность заставить отступать моего мужа». В другой редакции добавлено: «Петр III был окружен такими советниками, которые позаботились бы придумать более хладнокровный подрыв служебным интересам, а может быть и жизни моего мужа».

Кто эти советники, которые вдруг оттеснили благополучный клан Воронцовых, еще вчера расставлявший родню на выгодные места? И когда, собственно, произошел инцидент? Если в «первой половине января», как указала княгиня, то трудно поверить, что недавно оскорбленный Дашков решил все просить за Манифест о вольности дворянства и предлагал поставить Петру III «золотую штатую». Вероятно, стычка случилась позднее.

18 февраля Михаил Иванович выказывал преданность государю, а уже 23-го присутствовал на торжественном обеде по случаю его дня рождения, но не за столом императора, а за столом императрицы. При прежнем положении вице-полковника непременно позвали бы к Петру Федоровичу. Однако после открытой ссоры это было невозможно, и Екатерине потребовалась известная смелость, чтобы принять офицера, с которым у государя едва не произошла рукопашная. Поступая так, она бросала мужу вызов и закрепляла князя Дашкова за собой в качестве сторонника. Вряд ли мы ошибемся, если предположим, что ссора разразилась между 18-м и 23-м.

Теперь следует вернуться к вопросу об окружении императора. Буквально на другой день по восшествии Петр послал курьера в Германию за своими многочисленными родственниками. Первым из приглашенных стал двоюродный дядя принц Георг Людвиг Голштинский, генерал прусской армии. Когда-то именно Георг Людвиг сватался к юной Екатерине. Ныне принц был женат, имел маленького сына, отличался крутым нравом и чисто семейной склонностью к фрунту. Петр проявлял к нему чрезвычайную привязанность: ведь этот человек досконально изучил прусскую школу муштры^[143].

Принц Георг был пожалован в фельдмаршалы. Другой дядя Петер-Август-Фридрих Голштейн-Бок также получил фельдмаршальский чин и стал генерал-губернатором Петербурга^[144]. Кроме мужской половины Голштинского дома, имелась и женская, которую Петр также пригласил в Россию и спешил облагодетельствовать.

Эти люди плотным кольцом окружили молодого императора, оттесняя тех из русских советников, кто на первых порах поддерживал Петра. Они претендовали на влияние и крупные денежные пожалования. Их интересы неизбежно сталкивались с интересами Воронцовых. Последние во всем уповали на «Романовну», но вряд ли она устраивала голштинскую родню, ведь приехавшие были не только семьей Карла Петера Ульриха, но и семьей Софии Августы Фредерики¹⁴. Они предпочли бы видеть мир в августейшей фамилии, о чем вскоре прямо заявил принц Георг Людвиг.

Январь прошел более или менее спокойно, а вот в феврале разразилась цепь скандалов на любовной почве. Вероятно, Петру стали приискивать любовниц поговорчивее и не обладавших влиятельными родственниками. Если 11 января французский посол Луи Огюст Бретейль доносил: «Император еще более умножил знаки внимания к девице Воронцовой. Он назначил ее старшей фрейлиной, у нее собственные апартаменты во дворце и она пользуется всевозможными отличиями», то через месяц, 15 февраля: «Порыв ревности девицы Воронцовой за ужином у великого канцлера, послужил причиной для ссоры ее с государем

¹⁴ Петр III и его жена Екатерина Алексеевна приходились друг другу двоюродными братом и сестрой и имели общую немецкую родню.

в присутствии многочисленных особ и самой императрицы. Желчность упреков сей девицы вкупе с выпитым вином настолько рассердили императора, что он в два часа ночи велел препроводить ее в дом отца. Пока исполняли сей приказ, к нему опять возвратилась вся нежность его чувствований, и в пять часов все было уже снова спокойно. Однако четыре дня назад случилась еще более жаркая сцена при таких выражениях с обеих сторон, каковые и на наших рынках редко услышишь. Досада императора не проходит».

Причиной послужили весьма болезненные для самолюбия Петра упреки фаворитки. «Со дня своего воцарения император всего один раз видел сына, – продолжал в том же донесении Бретейль. – Многие не усомнятся в том, что, ежели родится у него дитя мужского пола от какой-нибудь любовницы, он непременно женится на ней, а ребенка сделает своим наследником. Однако те выражения, коими публично наградила его девица Воронцова во время их ссоры, весьма успокоительны в сем отношении»^[145] Мужское достоинство государя было задето.

Одну из подобных сцен описала Екатерина II: «Император ужинал у графа Шереметева; тут Елисавета Воронцова приревновала не знаю к кому и приехала домой в великой ссоре. На другой день после обеда часу в пятом она прислала ко мне письмо... что она имеет величайшую нужду говорить со мной... Я пошла к ней и нашла ее в великих слезах; увидя меня, долго говорить не могла; я села возле ее постели, зачала спросить, чем больна; она, взяв руки мои, целовала, жала и обмывала слезами. Я спросила, об чем она столь горюет? ... Она посвободнее стала от слез и начала меня просить, чтоб я пошла бы к императору и просила бы... чтоб он ее отпустил к отцу жить, что она более не хочет во дворце оставаться»^[146].

Обед у канцлера, в его дворце между Фонтанкой и Садовой улицей, состоялся 14 февраля. Как сообщали «Ведомости», в большом зале был накрыт «великолепный стол на 100 кувертов, да в двух еще покоях: два других, каждый по 40 персон»^[147]. На первый взгляд кажется, что Дашкова не описала «порыв ревности девицы Воронцовой за ужином у великого канцлера». Однако в ее мемуарах есть примечательный фрагмент, вновь возвращающий нас к структурным особенностям этого источника. Княгиня как бы подошла к рассказу, начала его, а потом... опустила все, касавшееся сестры, и заменила инцидент между Петром и «Романовной» на стычку императора с собой лично.

«Государь пожелал ужинать у моего дяди, что было крайне неприятно старику, потому что он едва мог встать с постели; сестра моя, графиня Бутурлина, князь Дашков и я хотели присутствовать за столом. Император приехал около семи часов и просидел в комнате больного канцлера до самого ужина, от которого он был уволен». Сама Дашкова, ее сестра-фаворитка, Мария Бутурлина и Анна Строганова, «чтобы почтить ужин почетного гостя, стали за стулом, или лучше бегали по комнате, что было совершенно во вкусе Петра III, не большого любителя церемоний»^[148].

В другой редакции акценты расставлены иначе. Родные канцлера не сами пожелали отказаться за столом подле императора, а являются туда по требованию хозяина дома: «Дядя... послал за моей сестрой, графиней Бутурлиной, и за моим мужем и мной». Кроме того, Елизавета Воронцова не упомянута вовсе, точно ее не было на этом ужине. Надо полагать, фаворитка не бегала с сестрами по комнате и не стояла за стулом, а как раз сидела возле Петра III. Но Екатерине Романовне трудно было признать, что в определенный момент она оказалась за спиной царской любовницы, вынужденная прислуживать ей как настоящей монархине.

Выпив, государь, согласно донесению французского посла, поссорился с «Романовной». Эту сцену Дашкова опустила, поставив на ее место другую, где главную роль сыграла она сама.

«Я стояла за его (императора. – *О.Е.*) столом, в то время, как он рассказывал австрийскому послу, графу Мерси, и прусскому министру, как в бытность его в Киле, в Голштинии, еще при жизни своего отца, ему поручено было изгнать богемцев из города; он взял эскадрон карабинеров и роту пехоты и в один миг очистил от них город... Я наклонилась над ним (Петром III. – *О.Е.*) и сказала ему тихо по-русски, что ему не следует рассказывать подобные вещи иностранным министрам, и что если в Киле и были нищие цыгане, то их выгнала, вероятно, полиция, а не он, который к тому же был в то время совсем ребенком.

– Вы маленькая дурочка, – ответил он, – и всегда со мной спорите»^[149].

Анекдот с цыганами-богемцами зафиксирован разными современниками^[150]. Однако неизвестно – шла ли речь о бродягах за столом у канцлера Воронцова и какое отношение имела к разговору Дашкова. Возможно, она сделала себя участницей расхожей истории о чудачествах императора. Но положим, государь повздорил с обеими сестрами в один вечер. Тогда добряку князю Дашкову пришлось расплачиваться за двух несдержанных на язык дам.

«Революция недалеко»

Ссоры между «Романовной» и ее царственным возлюбленным, конечно, не укрепляли положения Воронцовых. В любую минуту фаворитка из-за своей необузданной ревности могла потерять место. На этом фоне и произошла стычка Петра III с князем Дашковым. Он дулся на Елизавету Романовну, а вкуче и на ее родню, увидел плохо маршировавший любимый полк, привязался к зятю фаворитки, оба вспылили, наговорили горьких истин, «где замешивалась честь», и князь лишился должности.

Происшествием не замедлила бы воспользоваться голштинская родня императора, чтобы повредить клану Воронцовых в целом. Поэтому семья Дашковой, особенно дядя, приняла живейшее участие в судьбе Михаила Ивановича. «Мои родители и я, – писала княгиня, – ... решили, что безопаснее всего будет разъединить их [с императором] на некоторое время»^[151]. «Еще не все послы были назначены к иностранным дворам с известием о восшествии на престол Петра III, и я попросила великого канцлера похлопотать о назначении мужа в одну из соседних миссий. Просьба моя немедленно была исполнена»^[152]

Здесь, как и во всей истории про ссору, княгиня ни словом не упомянула сестру. На первый план выведен дядя-канцлер, он – главный помощник в трудной ситуации. Однако в письме Александра Воронцова из Лондона добавлены недостающие сведения: «Вы обязаны своей сестре тем, что муж ваш был послан в Константинополь»^[153] Сколько бы ни хлопотал канцлер, но без согласия государя ни один посол не мог получить назначения. Вскоре после бурной перепалки мир Петра III с «Романовной» восстановился, и добросердечная толстуха попросила за зятя.

«Дашков, получив приказание ехать в Константинополь, тотчас же оставил Петербург»^[154], – продолжала наша героиня. Последнее утверждение не соответствует истине. Михаил Иванович покинул столицу только в середине весны. В одной из записок молодая императрица благодарила подругу за присланные конфеты, но замечала, что «во время поста сладкое не в ее вкусе». А далее передала привет Михаилу Ивановичу. Следовательно, в конце февраля – марте Дашков еще не уехал. А вот к 21 апреля его уже не было в Петербурге: на день рождения императрицы в ее покоях накрыли «большой стол», за которым ни князь, ни княгиня не присутствовали – без мужа выезжать ко двору Екатерина Романовна не могла.

По традиции ей вообще следовало на время отлучки супруга удалиться к его матери. Вероятно, столичная родня была не прочь отослать княгиню в Москву: слишком уж открыто та демонстрировала приверженность к государыне. Но у Дашковой имелись свои планы, она не хотела покидать город: «Одна мысль преследовала мое воображение и одушевляла какой-то вдохновенной верой, что революция недалеко»; «Я была убеждена в том, что император будет свергнут с престола, и твердо решила принять участие в его низложении».

И тут «Романовна», не осведомленная об идеях сестры, повела себя очень просто-душно. «Она по вашему желанию удержала ваше отправление в Москву», – продолжал Александр Воронцов список обвинений. Стало быть, фаворитка снова похлопотала, теперь уже перед отцом и дядей. Легко представить, как в роковые дни переворота Елизавета упрекала себя за доверчивость.

Задумаемся, почему Дашкова сдвинула время ссоры на середину января? И почему утверждала, что муж уехал немедленно? Согласно одной редакции мемуаров, Екатерина Романовна выступала инициатором отправки князя в Турцию: «Я в особенности настаивала на этом... Я страстно желала, чтобы мой муж был в это время за границей, чтобы в случае, если на меня обрушится несчастье, он не разделял бы его со мной... Я предпочитала, чтобы он [лучше] был в Константинополе, чем в Петербурге, где он подвергался опасности... в случае неудачи планов, наполнявших мое сердце»^[155].

В другой редакции Михаилу Ивановичу вручено больше самостоятельности, а на отъезд его уговаривают друзья: «Князю надо было выбирать одно из двух зол: или остаться в Петербурге и идти против царского гнева... или обречь себя добровольному изгнанию... *Друзья советовали решиться на последнее; я с своей стороны, как ни велика была борьба с сердцем, не противоречила их мнению...* Дашков, *успокоенный советами его друзей*, изыскивал более благовидный предлог для своего удаления».

«Я настаивала» и «я не противоречила» – разные вещи. Обратим также внимание на оборот «его друзья» – т. е. пока эти люди еще не друзья самой Екатерины Романовны. Но кто они? Их имена отчасти перечислены Екатериной II, когда идет речь о собраниях на квартире Дашкова: «В дружбе и согласии находились все те, кои потом имели участие в моем восшествии яко то: трое Орловы, пятеро капитаны полку Измайловского и прочие»^[156]. Отчасти нашей героиней: «Я, не теряя времени, старалась утвердить в надлежащих принципах друзей моего мужа, капитанов Преображенского полка Пассека и Бредихина, братьев Рославлевых, майора и капитана Измайловского полка и других».

Если Екатерина II по имени называет только Орловых, то Дашкова их-то и не хочет упомянуть. Княгиня настаивала, что братьев к делу привлекли «главные заговорщики» – Рославлевы, Ласунский, Пассек, Бредихин, Баскаков, Барятинский, Хитрово. Люди сомнительного происхождения, почти солдаты – Орловы не могли входить в круг друзей мужа. Между тем Григорий и Алексей носили почти те же чины и посещали квартиру князя. Возможно, они-то и уговаривали Михаила Ивановича уехать. Затаенная обида на «его друзей», которая сквозит во втором отрывке, косвенно подтверждает это предположение.

Соединив оба списка, получим имена заговорщиков, во главе которых Дашкова позднее увидела себя. До апреля они находились в контакте с Михаилом Ивановичем. И только после отъезда князя наша героиня заменила мужа как хозяйка квартиры, на которой собирались недовольные. В «Записках» Екатерины Романовны остался намек на реальное время разлуки с супругом. «Я виделась с ними довольно редко, – писала она о друзьях мужа, – и то случайно, до апреля месяца, когда я нашла нужным узнать настроение войск и петербургского общества»^[157]. А что же раньше? Раньше этим был занят Михаил Иванович. Когда он уехал, возникла естественная пауза в отношениях с «друзьями», ведь молодые офицеры не могли посещать княгиню, как прежде посещали своего товарища, – это выглядело неприлично. В апреле ей пришлось изыскивать средства для встреч с ними. И, вероятно, такие встречи были эпизодическими.

Сдвигая в мемуарах время ссоры с императором и отъезд мужа из столицы на середину января, наша героиня скрадывала его сопричастность к заговору и на очень раннем этапе заменяла собой во главе «фракции». Планы «революции» нигде не названы общими, они как будто «заполняют голову» одной княгини. Возможно, супруг не привлекал жену к делу и таился? А она так боялась за него, что предпочла лучше рисковать собой? Или все-таки перед нами сюжетный ход, отдающий лавры устроительницы мятежа в одни – дамские – руки?

В любом случае Дашков ждал переворота со дня на день, с недели на неделю, поэтому не спешил покидать Россию. «Князь путешествовал мешкотно, остановился в Москве и проводил свою мать до Троицкого, лежавшего по дороге в Киев, где он находился еще в начале июля»^[158].

Глава 3. Заговорщица

Судьба князя Дашкова трагична – он умер раньше, чем успел показать себя. А то немногое, что собирался сделать, привычно ассоциируется с именем его жены. Причем исключительно благодаря ее «Запискам». Присвоение – метод, которым мемуаристы примиряются с прошлым.

А как же слова княгини о грустных годах, проведенных без мужа? «Ни за какие блага мира я не желала бы опустить воспоминание о самом мелочном обстоятельстве из лучших дней моей жизни»^[159].

Помнить для себя и рассказывать читателям – разные вещи. Брак Екатерины Романовны нельзя назвать в полной мере счастливым. В письме ирландской подруге миссис Кэтрин Гамильтон 1804 г. наша героиня признавалась: «Я действительно была добровольной рабой воли своего мужа... Одно самолюбие одушевляло мое сердце – желание беспредельной любви моего мужа... Я знаю только два предмета, которые были способны воспламенить мои бурные инстинкты... неверность мужа и грязные пятна на светлой короне Екатерины II».

Вновь имена супруга и императрицы оказались рядом. По отношению к ним Дашкова испытывала близкие чувства: беспредельное обожание и мучительную ревность. «После мужа земным моим идеалом была Екатерина; я с наслаждением и пылкой любовью следила за блистательными успехами ее славы... считая себя главным орудием революции... я действительно, при одной мысли о бесчестии этого царствования, раздражалась, испытывала волнение и душевные бури – и никто не подозревал в этих чувствах... истинного побуждения»^[160]. Всё объясняли «энтузиазмом» и «увлечением». Между тем «бесчестие этого царствования» – фаворитизм, любимцы, появлявшиеся у государыни помимо подруги. Именно они воспламеняли бурные инстинкты героини. Стало быть, речь о ревности.

«Неверность», «грязные пятна». Михаил Иванович и Екатерина Алексеевна сходным образом провинились перед княгиней. Поэтому их постигло сходное же наказание. Присвоение действий. На полях книги французского памфлетиста Ж. Кастера о перевороте княгиня с гневом пометила: «Не императрица, но я его сделала», «я была во главе заговора»^[161]. То же самое она сказала сестрам Уилмот, когда речь зашла о Петре III, которого мемуаристка, «по ее собственным словам, свергла с трона»^[162]. И продиктовала в воспоминаниях: «Мне принадлежала первая доля в этом перевороте – в низвержении неспособного монарха»^[163].

«Не надеюсь расплатиться с вами»

Доказывать, что роль Дашковой в заговоре была иной, чем рассказано на страницах мемуаров, – ломиться в открытую дверь. Гораздо интереснее ответить на вопрос: почему Екатерина II позволяла своему «неоцененному другу» оставаться в заблуждении и до определенного момента даже поддерживала иллюзию? По словам Рюльера, императрица незадолго до переворота посоветовала Орлову сблизиться с княгиней, и та, не подозревая о связи подруги с этим человеком, сама представила его государыне как одного из заговорщиков.

«Орлов, наученный ею, обратил на себя внимание княгини, которая, думая, что чувства, ее одушевлявшие, были необходимы в сердце каждого, видела во главе мятежников ревностного патриота... и с сей минуты Орлов, сделавшись... настоящим исполнителем предприятия, имел особенную ловкость казаться только сподвижником княгини Дашковой»^[164].

Следовательно, спектакль был выгоден. До роковой черты августейшая тетка *хотела*, чтобы Дашкова видела в себе главу заговора. А та пошла на поводу, ибо желание государыни совпадало с ее собственным. «Во-первых, я лишена была всякой опытности; – оправдывалась она перед миссис Гамильтон, – во-вторых, я судила о других по своим собственным чувствам, думая о всем человечестве лучше, чем оно есть на самом деле»¹⁵.

Когда карты открылись, элементарное самоуважение не позволило Екатерине Романовне гласно признать ошибку. Она испытала жгучее унижение, оттого что была обманута. Другая на ее месте промолчала бы, желая сохранить лицо. Или потребовала объяснений. Наша героиня начала настаивать на реальности иллюзии. И билась отчаянно, до последнего вздоха. «По восшествии на престол она (Екатерина II. – О.Е.) писала польскому королю (Станиславу Понятовскому. – О.Е.) ... что я, на самом деле, не более как честолюбивая дура. Я не верю ни одному слову в этом отзыве».

Императрица действительно оказалась знатоком человеческих душ, подловив подругу на склонности к самообольщению. В качестве номинального руководителя заговора Екатерина Романовна сделала больше, чем сделала бы, считай себя рядовым участником. Княгиня говорила Дидро, что каждая ее встреча с государыней «угрожала кинжалом». Гамильтон и Уилмот не раз повторяла, что «рисковала головой перед эшафотом». Но первая жертва, принесенная на алтарь победы, была прозаичнее и в обыденном смысле тяжелее для такой рачительной хозяйки, как Дашкова. Она отдала деньги.

В мемуарах есть примечательный рассказ об ограблении: «Через два дня после отъезда князя со мной случилась неприятность. Я оставила при себе немногочисленную прислугу; какие-то матросы, работавшие в Адмиралтействе в Петербурге, взломали окно комнаты, где горничная хранила мое белье, платье и даже деньги... Они унесли все белье, все деньги и шубу, крытую серебряной парчой; благодаря этой шубе воры были впоследствии отысканы, но все-таки я осталась без денег и без белья... Мне тяжело было занимать деньги и этим увеличивать долги моего мужа»^[165].

Чтостораживает в приведенном рассказе? Деньги сами по себе. В феврале 1762 г. Петр III заявил о желании ввести ассигнации, но первые бумажные купюры поступили в обращение накануне переворота, так что гвардейцам, принявшим участие в заговоре, жалование выдали в том числе и новыми «билетами». Многие не знали их цены и, посмотрев, отдавали обратно. В момент грабежа деньги, остававшиеся на руках у княгини, были металлическими. Их нельзя было ни спрятать среди белья, ни хранить в гардеробной – они зани-

¹⁵ Обратим внимание, как слова Дашковой похожи на фразу Рюльера, приведенную выше. Таких текстуальных и смысловых совпадений в книге французского дипломата и мемуарах княгини немало.

мали слишком много места. Хрестоматиен пример М.В. Ломоносова, который получил за оду Елизавете Петровне в подарок 500 рублей, и ему привезли во двор телегу, груженную монетами разного достоинства. Деньги Дашковой должны были занимать сундук, выволочь который и унести через окно, не привлекая внимания домочадцев, соседей, целой улицы не представляется возможным.

Если учесть, что эпизод с ограблением имеется только в одной редакции, то его следует отнести к вставным. Княгиня сама разрешила Марте Уилмот дополнить мемуары теми случаями, которые она просто рассказывала сестрам. Марта в начале XIX в. не знала тонкости с металлическими и бумажными деньгами – у нее на родине давно ходили ассигнации, в современной ей России тоже – и легко предположила, что «билеты» могли лежать среди белья.

Вторая странность – поведение родственников Дашковой. Сестра Елизавета послала княгине полотно, затем рубашки, но не деньги, хотя именно финансовая помощь требовалась в первую очередь. Екатерине Романовне пришлось занимать на стороне, увеличивая долги мужа. Хотя дядя и отец могли просто дать оставшейся в одиночестве женщине некую сумму, чтобы она с дочерью протянула до возвращения князя. Наконец, следовало написать Михаилу Ивановичу – он направлялся к матери в Москву и мог прислать из имений. Ничего этого не произошло.

Все вели себя так, словно у Дашковой стащили шубу и белье. Что, вероятно, и отвечало истине. Остальное княгиня понемногу перетаскала подруге. Практически все крупные участники заговора раскошелились. Под предлогом недавнего ограбления княгине проще было занимать у знакомых, вопрос: на что? – отпадал.

Пунктирный след этих событий сохранился в письмах Екатерины, хотя осторожная императрица нигде не произнесла слова «деньги». «Не надеюсь расплатиться с вами вполне за вашу постоянную и истинную преданность»^[166]. Разговор в карете на дороге из Петергофа 29 июня, на следующий же день после переворота, затрагивал именно вопрос платы за преданность. «Просите у меня, чего хотите; я не буду покойна, если вы мне тут же не укажете, что я могу сделать». Екатерина желала «облегчить себя от чувства признательности». Дашкова, напротив, хотела это чувство сохранить: «Я не думала, что дружеские услуги окажутся для вас тягостными».

Еще ярче тема воздаяния обозначилась в Петербурге, когда императрица возложила на подругу орден Св. Екатерины. «Вы хотите вознаградить меня за мои заслуги... в моих глазах им нет цены»^[167], поскольку они «никогда не продавались и не будут продаваться с торгу»^[168].

Тем не менее Екатерина II все-таки отдала долг. 9 августа в «Санкт-Петербургских ведомостях» был опубликован список лиц, пожалованных за участие в перевороте. Дашковой причиталось 24 тыс. рублей^[169], однако в черновике цифра была иной – 12 тыс.^[170]. К началу августа отношения подруг уже были сильно напряжены, и в порыве раздражения императрица, вероятно, обозначила ту сумму, которую когда-то взяла у княгини.

Характерно поведение нашей героини: она оплатила этими деньгами долги мужа. Те самые, которые увеличила, занимая после кражи.

Кредит

Если бы для переворота достаточно было 12 тысяч, подругам удалось бы избежать первых недоразумений. Но требовалось гораздо больше. Очень рачительная, когда дело касалось обыденной жизни – домов, имений, векселей, – Дашкова впадала в словесную высокопарность, едва речь заходила о свершениях на благо Отечества. Эту черту подметил Дени Дидро: «Если дело само по себе великое, она терпеть не может, чтоб унижали его какими-нибудь мелкими политическими расчетами»^[171].

А для Екатерины II скрупулезный расчет лежал в основе любого предприятия. К моменту переворота большинство служащих Петра III уже полгода не получало жалованья^[172], в этих условиях «материнские благословения» императрицы, передаваемые гвардейцам вожаками заговора, дорогого стоили.

У французских авторов, писавших по горячим следам о «петербургской революции», мелькают сообщения, будто государыня «раздала золото, деньги и драгоценности, которыми обладала»^[173]. Прусский посланник Гольц в конце августа 1762 г. доносил Фридриху II, что «Панин... давно уже снабжал императрицу суммами, которые были употреблены на подготовление великого события»^[174], т. е. переворота. Кроме того, Екатерине удалось устроить Орлова на должность цалмейстера (казначея) при генерал-фельдцейхмейстере (командующем артиллерии). Так что деньги в артиллерийской кассе тоже не задерживались.

Иностранные авторы не раз упоминали, что и Дашкова во время переворота раздавала гвардейцам деньги, взятые у государыни. Княгиня возражала: «Я не просила и не получала денег от императрицы; тем менее приняла бы я их от французского министра, как то утверждают некоторые писатели. Мне их предлагали и открывали огромный кредит; но я неизменно отвечала, что, с моего ведома и согласия, никакие иностранные деньги... не будут употреблены на поддержание переворота»^[175].

Все акценты расставлены точно. «С моего ведома и согласия». Княгиня знала, что Екатерина II получила-таки нужную сумму от английских купцов, но подчеркивала, что не несет за это ответственности, ибо всегда возражала. Ее руки не запятнаны иностранными деньгами, это «клевета совершенно ложная». Но кто и при каких обстоятельствах открывал Екатерине Романовне кредит? И почему назван французский министр?

В Семилетней войне Россия сражалась с Пруссией на стороне Австрии и Франции. Петр III заключил с Фридрихом II мир и даже союз. Вена и Париж дорого бы дали за возвращение Петербурга на театр боевых действий, поэтому оба двора были кровно заинтересованы в свержении императора. Но их посланники не считали Екатерину серьезной претенденткой на престол, поэтому в разной форме отказали ей.

15 марта граф Марси д'Аржанто доносил в Вену: «Императрица прислала мне секретным путем приятное и обязательное уверение, что, если бы она имела хотя малейшую власть, то, конечно, употребила бы ее на сохранение прежней политической системы». То есть на продолжение войны с Фридрихом II. Однако ответа от австрийской стороны не последовало.

С французами получилось интереснее. Бретейль лично симпатизировал императрице. Тем не менее, когда Екатерина обратилась к нему за субсидией, он уклонился. Более того – поспешно уехал из Петербурга, испросив отпуск. 3 июня он вручил канцлеру письмо, сообщавшее об отлучке. И тут его посетил Джованни Микеле Одар, управляющий имениями Екатерины и ее доверенное лицо. Одар намекнул Бретейлю на грядущие перемены, которые могут быть очень выгодны Франции, и попросил финансовой помощи. Бретейль отделался туманными обещаниями. Накануне отъезда Одар явился вновь.

«Императрица, – заявил посланец, – поручила мне доверить вам, что побуждаемая самыми верными своими подданными и доведенная до отчаяния обращением с ней супруга,

она решилась на все, чтобы положить этому конец. Не зная, когда ей удастся исполнить свое мужественное решение, и какие затруднения представятся ей на пути, она спрашивает вас, может ли король помочь ей шестьюдесятью тысячами рублей... в обмен на расписку»^[176].

Бретейль заколебался. Он сказал, что ему необходимо получить разрешение короля на выдачу такой крупной суммы, но для этого потребуется документ с просьбой о предоставлении денег. Пусть он будет ни к чему не обязывающим, но написанным рукой императрицы. Например: «Я поручила подателю этой записки пожелать вам счастливого пути и попросить вас сделать несколько небольших закупок, которые прошу вас доставить мне как можно скорее»^[177].

15 июня дипломат покинул Петербург, переложив дела на секретаря посольства Беранже, но не пояснив тому суть договоренности с Одаром. Когда доверенное лицо императрицы явилось, секретарь посольства был удивлен визитом. Но еще больше он поразился, прочитав собственноручную записку Екатерины: «Покупка, которую мы хотели сделать, будет, несомненно, сделана, но гораздо дешевле; нет более надобности в других деньгах»^[178]. Это был отказ от сотрудничества.

Перед нами любопытная ситуация: заинтересованные дипломаты отказывают в финансовой помощи императрице, которая обращается к ним напрямую. Но готовы открыть свои кошельки перед ее подругой, которая никого ни о чем не просила. В приведенном случае можно оценить степень преувеличения, которую допускала Дашкова. Поскольку Одар был рекомендован Екатерине Алексеевне именно ею, она не без оснований считала его своим человеком. А переговоры с ним – переговорами с собой. Бретейль не сумел сразу сказать «нет», это и названо: «открывали огромный кредит».

Прежде чем двигаться дальше, познакомимся с Одаром, поскольку этот человек сыграл заметную роль в перевороте и близко общался с княгиней. Он родился около 1719 г. и приехал в Россию в конце царствования Елизаветы Петровны. По протекции канцлера Воронцова был определен в чине надворного советника в Коммерц-коллегию и в 1761 г. подал на рассмотрение два мемуара: один с обзором российской коммерции в целом, другой – о правилах конфискации товаров в случае банкротства. Эти сочинения Одар представил племяннице канцлера Дашковой, о чем свидетельствует сопроводительное письмо, полное самых лестных выражений в адрес княгини^[179].

Рюльер осмелился называть Одаря наперсником Екатерины Романовны, склонившим молодую женщину отдаться Панину, чтобы вовлечь того в заговор. «Тщетно княгиня, в которую он (Панин. – О.Е.) был страстно влюблен, расставляла ему свои сети. Она подогревала его страсть, но была непоколебима, полагая среди прочих причин тесную связь, которую имела с ним мать ее, что она была дочь этого любовника. Пьемонтец по имени Одар, хранитель их тайны, убедил сию женщину отложить всякое сомнение и даже пожертвовать [будущим] ребенком»^[180].

Этот пассаж вызвал волну негодования Дашковой. «В числе иностранцев, прибывших в Россию, – писала она, – был один пьемонтец, по имени Одар, которому покровительствовал канцлер, доставивший ему место советника Коммерц-коллегии. Я познакомилась с ним; он был образованный, тонкий, хитрый и живой человек уже не первой молодости. Вскоре он... попросил меня похлопотать, чтобы императрица взяла его в свой штат... Мне удалось уговорить императрицу взять его к себе на службу... Он не был близким мне человеком и не имел на меня никакого влияния; я его даже мало видела, а в последние три недели перед переворотом... не видела ни разу. Я... советов его не спрашивала, и он, конечно, имел бы еще меньше успеха у меня, если бы посмел уговаривать меня отдаться моему дяде, графу Панину»^[181].

Рассказ княгини примечателен уже потому, что каждая его строка вызывает вопрос. Неясно, почему в опасный момент подготовки заговора племянница канцлера взялась хло-

потать перед Екатериной за едва знакомого человека. Разве что ее убедил дядя, покровительствовавший советнику. Однако императрица поначалу уклонялась, ей не нужен был соглядатай Воронцова в близком окружении. Но и совсем не исполнить просьбу Дашковой она не могла. Надо знать настойчивость на грани бестактности, которую проявляла Екатерина Романовна, когда бралась кого-нибудь пристраивать. В записках государыни имя Одара вскользь упомянуто трижды, и всякий раз Екатерина ссылалась на какую-нибудь помеху, препятствовавшую ей заняться делом пьемонтца, пока, наконец, не сдалась: «С голоду он при мне не умрет». В мае 1762 г. императрица приняла протекже подруги управляющим одного из имений.

Прекрасно чувствующавший политическую конъюнктуру Одар быстро стал из человека канцлера человеком Екатерины. Такие метаморфозы случались в окружении императрицы. Характеристика нравственных качеств пьемонтца совпадает у Дашковой и Рюльера. Француз приписывал ему такие слова: «Я родился бедным; видя, что ничто так не уважается в свете, как деньги, я хочу их иметь, сего же вечера я готов для них зажечь дворец; с деньгами я уеду в свое отечество и буду такой же честный человек, как и другой»^[182]. С такими взглядами «тонкий, хитрый, живой человек», видимо, догадался, что служить Екатерине выгоднее. Позднее Бретейль утверждал, что заслуги Одара «перед императрицей были велики, но сам он жадный и наглый проходимец»^[183].

С.М. Соловьев считал, что императрица использовала Одара для тайных сношений со своими сторонниками^[184]. Во всяком случае, для связи с Дашковой он подходил как нельзя лучше, посещая княгиню без малейших подозрений, в качестве старого, всем обязанного ей протекже. Именно через пьемонтца Екатерина Романовна могла получить сведения о контактах с французским послом и о том, что тот фактически потребовал расписки. Тут разразился скандал.

«Объявляю себя лицом посторонним»

Среди записок Екатерины II к подруге есть одна, резко выделяющаяся на фоне других простотой тона и серьезностью автора. Кажется, что мы отогнули краешек занавеса и заглянули за кулисы. Актёры только что смыли грим.

«Не могу представить, кто вам сообщил такое известие; конечно, было бы трудно найти письма, которые не существовали, еще труднее открыть источники сведений в настоящем случае, в котором я торжественно объявляю себя лицом посторонним. Император прочитал каждое письмо и знает все, что нужно знать: он, разумеется, видит, что все это бред невежества и глупости. Я ничего не понимаю относительно бумаг, найденных у английского консула: скажите мне, что вы знаете об этом. Если заподозрили в его поступке заднюю мысль, то, разумеется, по внушению врага его, Кейта. Но это не мое дело. Я предаю огню все ваши письма»^[185].

Чему посвящен этот документ? Есть польская пословица: если вы не понимаете, о чем идет речь, значит, разговор об очень больших деньгах. Записка Екатерины – об *очень больших* деньгах. И о фактическом провале заговорщиков накануне переворота.

Из первых строк видно, что императрица отрешивается от некоего ложного, по ее словам, известия и «несуществующих» писем, о которых неизвестный источник сообщил Дашковой. Источником княгини под рукой Екатерины был Одар. Мерси д'Аржанто и Беранже, в донесениях назвали его «секретарем» и «опорой заговора». После неудачи с французским послом пьемонтцем обратился к представителям английским торговой колонии и, вместо шестидесяти тысяч Бретейля, занял сто тысяч у купца Фельтена^[186].

Такой заем не мог быть осуществлен без ведома английского торгового консула в Петербурге. Вероятно, последний попросил у Одара нечто вроде письменного обязательства, как прежде сделал Бретейль. Об этом стало известно главе посольства сэру Роберту Кейту, который спровоцировал обыск у консула.

Сам посол считался близким другом семьи Дашковых. «Кейт был в милости у Петра III, – писала наша героиня. – Князь Дашков и я жили на очень короткой ноге с этим почтенным старым джентльменом; он так нежно любил меня, что я, как будто в самом деле была его дочерью, – так он, обыкновенно, называл меня». Екатерина держала в голове эту близость, когда просила подругу разузнать подробнее, что известно о бумагах консула.

Беседы сэра Роберта с Дашковой, судя по ее «Запискам», шли достаточно откровенно: «Однажды... Кейт, заговорив об императоре, заметил, что он начал свое царствование оскорблением народа и, вероятно, кончит его общим презрением». Именно от Кейта княгиня узнала о неких «письмах», изблещавших финансовую связь консула и императрицы. Ее возмущение было столь велико, что она обратилась к подруге за разъяснениями. Екатерина в приведенной записке от всего отперлась.

След разговора с дипломатом остался в мемуарах княгини: «Однажды, навестив английского посланника, я услышала отзыв, что гвардейцы обнаруживают расположение к восстанию, в особенности за Датскую войну. Я спросила Кейта, не возбуждают ли их высшие офицеры. Он сказал, что не думает; генералам и старшим военным чинам нет выгоды возражать против похода, в котором ожидают их отличия»^[187]. У разговора нет окончания. Екатерина Романовна оборвала диалог там, где он соскальзывал на неприятную тему. Иначе пришлось бы распространяться об «иностранных деньгах». Соединив рассказ из воспоминаний княгини с запиской Екатерины II, удастся кое-что прояснить.

Уже после переворота, 6 июля, прусский министр Бернгард Гольц донес в Берлин Фридриху II: «Кейт в начале своего пребывания здесь давал государыне займы, в надежде, что это поможет ему быть главным лицом при перемене правления; впоследствии он увидел,

что это ни к чему не привело. Со смерти покойной императрицы к Кейту прибегали еще раз, чтобы получить от него еще некоторое количество денег; но он отказал, боясь, что этим просьбам не будет конца... Теперь он не может похвалиться, что государыня на него за это не сердится»^[188].

Кейту действительно нечем было похвастаться. Накануне переворота он не только не дал будущей самодержице денег, но и поставил ее дело под удар, сообщив Петру III о тайных контактах жены с британскими купцами. Бумаги, найденные у английского консула, стали известны императору, но, по-видимому, не содержали ничего серьезного, иначе Екатерина не вывернулась бы. Тем не менее из осторожности она посчитала правильным сжечь письма Дашковой. Ведь та напрямую спрашивала о деле.

Реакция самой княгини показательна: «Когда граф Строганов был сослан в свои поместья, я посоветовала Одару поехать с ним». О ссылке Строганова мы поговорим позже. Сейчас важно отметить, что Екатерина Романовна, которая, по ее словам, мало знала пьемонтца, дала ему совет скрыться у одного из своих родственников – сторонников императрицы, которого Петр III «загнал на дачу» буквально в канун переворота. Пояснение: «ради его здоровья» вызывает улыбку – Одар был слишком глубоко «прикосновенен» к денежным делам императрицы, чтобы его не спрятать.

Примерно за месяц до роковой черты почти пресеклись и контакты подруг. «От княгини Дашковой приходилось скрывать все каналы тайной связи со мной в течение пяти месяцев, – после переворота жаловалась императрица Станиславу Понятовскому, – а четыре последние недели ей сообщали лишь минимально возможные сведения»^[189]. Молодость, неопытность, откровенный разговор, случайно брошенное слово... «Только олухи и могли ввести ее в курс того, что было известно им самим».

«Озеро нимф»

Сразу после отъезда Михаила Ивановича из столицы княгиня предалась горести. Екатерина Романовна была очень впечатлительной, и душевные страдания могли вызвать у нее лихорадку на нервной почве. Августейшая подруга утешала Дашкову как могла. «Сокрушаюсь, что отъезд нашего посланника опечалил вас, – писала она. – Мне вдвойне больно за это обстоятельство, потому что вы знаете, как близко я принимаю все, что до вас касается». «Письмо ваше так грустно настроено, что я советовала бы вам менее сокрушаться о разлуке с нашим посланником; я уверена, что он возвратится к нам по добру, по здорову». «Я охотно извиняю вам чувствительность, но берегитесь, милая княгиня, слабости... Эта чувствительность есть доказательство нежного сердца, и я уверена, что ваш ум поставит ее в приличные границы. Мне не хотелось бы допустить вас до уныния; это, право, недостойно вашего характера».

Видимо, в письмах к императрице, как и в послании к Гамильтон, Дашкова жаловалась на привязчивость своего сердца и именовала себя «добровольной рабой» мужа. Потому что в ответ Екатерина возражала: «Я... не согласна с вами, если вы думаете, что управлять вашим сердцем легко. Выбросьте эту мысль из головы».

Другой фрагмент из письма Екатерины тоже кажется ответом на мысли, озвученные много позднее для Гамильтон: «Земным моим идеалом была Екатерина». Вряд ли императрице было неприятно преклонение, но она считала своим долгом остановить подругу: «Я ничего не скажу о лестных выражениях вашего письма, ибо не хочу разочаровывать вас относительно моих воображаемых совершенств... Вы заслуживаете этой хитрости с моей стороны, уверив себя в качествах, вовсе не свойственных мне».

И в другом послании: «Если я сделаюсь избалованной и тщеславной, кого же мне обвинять в том, кроме вас и ваших друзей?» Видимо, княгиня не раз возвращалась к приведенным размышлениям. Для нее не так уж важно было, к кому их обратиться. К старой подруге или новой. В конце концов, она вела беседу с собой.

Считая, что Екатерина управляет ее сердцем, княгиня и от подруги требовала полноты чувств. Но главное – пыталась подчинить своей недремлющей заботе, оградить от остального мира стеной ревнивой привязанности. Ответные записки императрицы показывают, что Дашкова хотела контролировать ее контакты: «Не беспокойтесь, я не имею никакого сношения с О[тто] С[такельбергом]¹⁶... Я очень хорошо знаю его характер, и разговор наш никогда не заходит далее обыденных предметов»^[190].

Вместо отвергнутых, княгиня предлагала Екатерине своих посредников, но та иной раз уклонялась: «Готова верить, что лицо, о котором вы пишете, заслуживает доверия и доброго мнения; но... я не могу видеть его иначе как в обществе и говорить с ним открыто».

Иногда попытки Дашковой сделаться единственной посредницей вызывали справедливую отповедь: «Я не хочу совершенно отказываться от независимости, без которой нет характера»^[191]. Или: «Если вы найдете мое мнение – неуместным и опасным, вспомните, что мои принципы основаны не на общих взглядах и побуждениях, а на довольно верном знании человеческого сердца и характера».

Пассаж про «общие взгляды и побуждения» очень любопытен. Накануне переворота княгиня решила теоретически подготовиться к грядущим событиям: «Я была поглощена выработкой своего плана и чтением всех книг, трактовавших о революциях в различных

¹⁶ Отто-Машгус Штакельберг (Стакельберг), русский дипломат, позднее посол в Польше, через него Екатерина могла связываться с разными иностранными министрами при русском дворе. Видимо, Дашкова посчитала этот контакт небезопасным, о чем и предупредила подругу.

частях света»^[192]. В библиотеке Екатерины Романовны сохранились издания, с которыми она знакомилась в это время, – «Revolutions Romaines», «Revolutions du Portugal», «History of Revolution In Sweden»^[193]. Если учесть нервную возбудимость княгини, разлуку с мужем и плохой сон, то запугивание себя кровавыми картинами пагубно сказалось на ее состоянии. «Румянец сбежал с моих щек, и я худела с каждым днем». Видения, которым Дашкова предавалась в ночь на 28 июня, – лишь кульминация ужасов, и раньше являвшихся ее мысленному взору. Позднее мисс Элизабет Картер, встречавшая Дашкову в Англии в 1770 и 1776 гг., писала подруге: «Могли ли вы предположить, что женщина, способная сыграть такую роль, имеет очень слабые нервы? Амбицию следует делать из более крепкого материала»^[194].

У императрицы нервы казались канатами. Дашкова объясняла спокойствие подруги тем, что она якобы не знала о надвигавшихся опасностях. «В это время государыня часто писала мне, и, по видимому, с более спокойным духом, менее встревоженная грядущими обстоятельствами, чем ее друзья, которых ожидания относительно близкой перемены были гораздо серьезнее, чем ее собственные»^[195].

На самом деле «не подозревала» именно Дашкова. В разговоре с Дидро она передала свои ощущения: «За три часа до переворота можно было подумать, что он отстоит от нас несколькими годами впереди».

Реальный заговор зрел сам по себе, книжные химеры в голове Екатерины Романовны – сами по себе. «Вскоре я схватила простуду, которая чуть не прикончила меня», – писала она. Нервы были ни при чем. Дашкова провалилась в болото.

Вспомним земли, которые отец уговорил княгиню взять у императора и которые осушали мужики-отходники Дашкова единственно «из преданности и благодарности за свое благосостояние». Участок был обширен: он начинался в четырех верстах от Петербурга и тянулся до Анненгофа и Екатерингофа. «Я через день ездила в свое имение, или, скорее, на мое болото, чтобы в одиночестве записать некоторые мои мысли», – сообщала Екатерина Романовна. В поездках молодую женщину должен был сопровождать кто-то из родных. Эту роль взял на себя ее зять Строганов, женатый на кузине Анне Михайловне. Отношения супругов давно разладились, и не будь граф так некрасив, совместные путешествия с золовкой вызвали бы много подозрений. Но Magot¹⁷ оставался Magotом, которому природная неловкость помешала даже спасти спутницу. «Желая погулять по лугу, казавшемуся мне уже обсохшим, я погрузилась в болото по колено. Ноги у меня промокли, и, возвратившись домой, я заболела».

Кирияново, впоследствии великолепно обстроенное на пожалованные Екатериной II деньги, имело для княгини какое-то роковое значение. В 1783 г., еще до возведения загородного дворца, она привезла сюда гостившую подругу миссис Гамильтон. Вход в имение отмечали только деревянные ворота из нескольких балок. Верхняя упала в ту минуту, когда Дашкова проходила под сводом, и ударила княгиню по голове^[196]. К счастью, без последствий. Ни крови, ни сотрясения мозга. Но, видно, крепко же молились за своих бар мужики, осушавшие местную трясину, если хозяйка дважды чуть не лишилась жизни.

В первый раз императрица страшно рассердилась на Строганова и обещала даже подраться с ним за то, что он водит княгиню по болотам. «Каким образом вы зашли в озеро нимф? Конечно, я пожурю вас, если бы не сочувствовала подобным приключениям в девятнадцать лет вашего возраста. Впрочем, чтобы наказать вас... я предскажу, конечно, не на радость вам, что через два года вы совершенно излечитесь от таких шалостей»^[197].

Любопытно послание государыни Строганову. Ни слова упрека, зато самые лестные отзывы в адрес его спутницы: «Я так глубоко чувствую ее дружбу, что едва ли можно чув-

¹⁷ Magot (фр.) – уродец, прозвище А.С. Строганова, зятя Дашковой и друга Екатерины II.

ствовать глубже. Я совершенно ей предана, и это единственная дань, которую могу заплатить ей. Понимаете ли вы?»

А мы? Что именно должен был понять Строганов? Дашкова ездила за город записывать мысли о будущем перевороте – «я старалась уяснить свои идеи и изыскивать более практичные и верные средства для достижения задуманной цели» – т. е. составлять план. Разговоры молодых людей не могли не касаться положения при дворе. Императрица сообщала другу, что он вправе доверять княгине. Строганов не был в числе активных заговорщиков. Его следует назвать сочувствующим. Тем самым «олухом» из письма к Понятовскому, который был способен ввести золвку «в курс» «очень немногих обстоятельств».

Таким образом, Екатерина замыкала общение подруги на вроде бы и близком к себе человеке, с которым можно говорить без опасения предательства, но в то же время практически ничего не знавшем. Если бы Строганова взяли и допросили – риск чего возник накануне переворота – молодой граф смог бы показать только на Дашкову. А ей в свою очередь были известны «лишь минимально возможные сведения»^[198].

Свой круг

Но желание императрицы и реальность совпали далеко не полностью. Дашкова не только перезнакомилась со всеми «вожаками» заговора, но и пыталась оказывать на них влияние. Ей самой представлялось, что она вербует сторонников: «Как только определилась и окрепла моя идея хорошо организованного заговора, я начала думать о результате, присоединяя к моему плану некоторых из тех лиц, которые своим влиянием и авторитетом могли дать вес нашему делу»^[199].

Первым и самым жирным гусем должен был стать Никита Иванович Панин, воспитатель наследника, родной дядя мужа Екатерины Романовны. Прежде он служил послом в Швеции и считал ее политическое устройство образцом для подражания. По-родственному княгине казалось легко поговорить с вельможей. В одной из редакций сказано, что во время болезни: «меня посещали мои родные, и между ними и дядя, граф Панин... Я несколько раз решилась заговорить с ним о вероятности низложения с престола Петра III». В другой – посредником между вельможей и заговорщицей на первых порах назван молодой князь Николай Васильевич Репнин, их общий родственник: «Князь Репнин, любимый его племянник... знал меня хорошо; он представил меня нашему общему дяде как женщину строго нравственного характера, восторженного ума, как пламенную патриотку, чуждую личных честолюбивых расчетов».

Впоследствии общение Екатерины Романовны и Никиты Ивановича было настолько плотным, что всякая видимая необходимость в посреднике отпала, и Репнин упоминался уже просто как сторонник обоих заговорщиков. В связи с пожалованием воспитателю наследника генеральского чина Дашкова описала царедворца: «Ему было сорок восемь лет, он был слаб здоровьем, любил покой, всю свою жизнь провел при дворе, или в должности министра при иностранных дворах, носил роскошный парик с тремя распудренными и позади смотанными узлами, очень изысканно одевался», словом, напоминал «старого куртизана времен Людовика XIV», от души «ненавидел солдатчину и все, что отзывалось кордегардией»^[200].

В этих словах заметно стремление княгини как бы «состарить» своего дядю, показать его почтенным, немного смешным и вовсе непригодным для роли воздыхателя. Дашкову легко понять, если вспомнить, что злые языки называли Панина ее любовником. «Мое знакомство с ним незадолго до революции отнюдь не было коротким, – признавала Екатерина Романовна, – но потом возникла между нами дружба, которая послужила предлогом клеветы для моих врагов»^[201].

Читая воспоминания княгини, следует знать, что Никита Иванович родился в 1718 г., т. е. в момент переворота ему исполнилось 44 года. Он считался одним из самых удачливых придворных ловеласов, среди его сердечных побед была и красавица Анна Михайловна Строганова. За 15 лет до описываемых событий, в 1747 г., камер-юнкер Панин приглянулся Елизавете Петровне, но могущественный клан Шуваловых, из которого происходил последний фаворит Иван Иванович Шувалов, почувствовал опасность. Панину удалось фактически скрыться за границей в качестве дипломата.

По замечаниям иностранных послов, Никита Иванович был страстно влюблен в Екатерину Романовну, при этом его особенно пленяли ум, острословие и обширные государственные планы племянницы. Через год после переворота новый английский министр граф Джон Бекингхэмшир так описывал этот родственный союз: «Панин... имеет и знания, и острый ум и даже прилежание, когда у него оказывается свободное для дел время после женщин и гастрономических утех... По натуре он ленив и чувствен. Задумчивой его любимицей является княгиня Дашкова. Он говорит о ней с нежностью, видится с ней почти каждую свободную минуту и передает ей важнейшие тайны, с таким беспредельным доверием, какое едва

ли следовало бы министру. Императрица, узнав об этом и справедливо встревожившись... заставила Панина дать обещание, что он никогда не будет говорить с княгиней Дашковой о государственных делах. Он дал слово, но в этом случае нарушил его»^[202].

Решившись на разговор с Паниным, племянница перечислила ему заговорщиков и сообщила, что среди них нет единого плана. «Он стоял за соблюдение законности и за содействие Сената», – писала Дашкова.

«– Конечно, это было бы прекрасно, – ответила я, но время не терпит. Я согласна с вами, что императрица не имеет прав на престол, и по закону следовало бы провозгласить императором ее сына, а государыню объявить регентшей до его совершеннолетия; но вы должны принять во внимание, что из ста человек девяносто девять понимают низложение государя только в смысле полного переворота...»

Словом, я убедилась, что моему дяде при всем его мужестве не хватает решимости»^[203].

Это описание не противоречит собственному рассказу Панина в беседе с его старинным другом датским послом Ассбургом. «Неудовольствие особенно распространилось между солдатами, и гвардия громко роптала... За несколько недель до переворота Панин вынужден был вступить с ними в объяснения и обещать перемену, лишь бы воспрепятствовать немедленному взрыву раздражения»^[204]. Однако в записке датского дипломата имя Дашковой не упомянуто, главная роль отведена рассказчику – Никите Ивановичу. Знакомый ход, не правда ли?

С.М. Соловьев заметил: «Дашкова постоянно употребляет слово *заговор*, но из ее рассказа прямо выходит, что заговора не было, а был один разговор»^[205]. Это не совсем верно. *Заговору действий* предшествовал *заговор мнений*. При этом Екатерина Романовна сыграла важную роль медиатора между гвардейскими заговорщиками и вельможами. Родство с Паниным позволяло ей не привлекать особого внимания. Результат был не совсем во вкусе императрицы. «Мой дядя воображал, что будет царствовать его воспитанник, следуя законам и формам шведской монархии», – писала княгиня.

Но Панин при всей видимой нерешительности был человеком опытным и искушенным в интригах. Во время первого же разговора ему удалось, что называется, «перевербовать» Екатерину Романовну и сделать ее сторонницей своего плана по возведению на престол Павла Петровича. Княгиня даже дала ему слово поговорить об этом с гвардейцами. «Я взяла с моего дяди обещание, что он никому из заговорщиков не обмолвится ни словом о провозглашении императором великого князя, потому что подобное предложение, исходя от него, воспитателя великого князя, могло вызвать некоторое недоверие. Я обещала ему в свою очередь самой переговорить с ними об этом; меня не могли заподозрить в корысти, вследствие того, что все знали мою искреннюю и непоколебимую привязанность к императрице. Я действительно предложила заговорщикам провозгласить великого князя императором, но Провидению не угодно было, чтобы удался наш самый благоразумный план»^[206].

Подобная шаткая позиция сделала Дашкову ненадежной в глазах основной группы заговорщиков. Императрица очень осторожно упоминала о разногласиях в стане ее сторонников. «Не все были одинакового мнения: одни хотели, чтобы это совершилось в пользу его сына (Павла. – О.Е.), другие – в пользу его жены»^[207]. Среди первых сама Екатерина упоминала только воспитателя царевича. «Панин хотел, чтобы переворот состоялся в пользу моего сына, – сообщала она Понятовскому, – но они (Орловы. – О.Е.) категорически на это не соглашались»^[208].

Что касается Дашковой, то в переписке с Екатериной, она проявляла такую же шаткость, как и в разговоре с дядей. Это видно из ответа императрицы: «Вы охотно освобождаете меня от обязательства в пользу моего сына; чувствую всю вашу доброту»^[209]. Вопрос о том, кто наденет корону, пока оставался открыт.

Другим важным лицом, участие которого в заговоре было бы желательно, являлся гетман Кирилл Григорьевич Разумовский. Молодые офицеры из группы Дашковой предприняли для сближения с ним немалые усилия. «Два брата Рославлевы, один майор, другой капитан Измайловского полка, и Ласунский, капитан того же полка, имели большое влияние на графа; они каждый день бывали у него на самой дружеской ноге, но не надеялись заставить его действовать в нашем смысле. Я посоветовала им каждый день сперва неопределенно затем и более подробно говорить ему о слухах, носившихся по Петербургу на счет готовящегося большого заговора и переворота... Когда же наш план созреет полностью, они откроются ему и дадут ему чувствовать, что он... рискует менее, если станет во главе своего полка и будет действовать за одно с ними»^[210].

Рассказывая о вербовке Панина и Разумовского, княгиня не объясняла, почему были избраны именно эти, а не другие вельможи. Между тем каждый из них уже состоял в заговоре, когда Екатерина Романовна обратилась к ним. Панин вступил в переговоры с императрицей накануне смерти Елизаветы Петровны. А Разумоский участвовал еще в заговоре канцлера А.П. Бестужева-Рюмина 1758 г., т. е. был самым старым из сподвижников Екатерины II. Накануне переворота он, без всяких понуканий со стороны других заговорщиков, напечатал в подчиненной ему типографии Академии наук Манифест о вступлении Екатерины II на престол.

Таким образом, Дашкова повторно устраивала переговоры, суежилась и составляла планы, в уже сложившемся кругу. Пока она обращалась к известным Екатерине и проверенным людям, дело не выглядело опасным. Но княгиня в любую минуту могла наткнуться на сторонника Петра III, как случилось с Кейтом. Хуже того – на предателя.

Пострадавшие

Принято много говорить об агитационной роли Дашковой. Отчасти из-за того, что никакая другая роль из ее мемуаров как будто не следует. Лучшее высказывание по этому поводу принадлежит историческому писателю XIX в. Д.Л. Мордовцеву: «Там, где все иногда зависит от пламенного слова, сказанного в роковой момент, чтобы наэлектризовать массу, ободрить нерешительных, – там экзальтация хорошенькой женщины становится сильнее целого корпуса гренадер»^[211].

Для подобного вывода есть основания. Екатерина II и Рюльер с редким единодушием признавали, что княгиня много и открыто говорила в пользу императрицы. Эти пламенные призывы вредили ей во мнении Петра III. Таким образом, Дашкова была заметна. Из всех заговорщиков – одна. Она, как магнит, притягивала недовольных и... внимание сторонников императора.

Княгиня сообщала, что накануне переворота слуги в доме следили за ней. Соглядатаи были приставлены и к Панину. 27 июня не смог отделаться от них Григорий Орлов. «Хвост» сопровождал бежавшую из Петергофа Екатерину II до самых ворот Верхнего парка.

Но раньше всего стали приглядывать именно за неосторожной на язык Дашковой. Ее агитация не прошла даром. Помимо друзей-гвардейцев, в мемуарах назван круг лиц, как будто не причастных к заговору, а на деле – оказавшихся высланными из Петербурга незадолго до переворота. О князе Михаиле Ивановиче мы уже говорили.

Другим членом семьи подруги, к которому императрица попыталась найти подход и привлечь на свою сторону, был любимый брат княгини – Александр. В будущем один из крупнейших оппозиционеров, он мог стать в 1762 г. участником заговора. Поведение Екатерины в отношении него очень похоже на тактику с Михаилом Ивановичем – лестные замечания, добрые слова, многообещающие намеки. «Я самого выгодного мнения о вашем старшем брате, – писала она. – Он кажется мне молодым человеком необыкновенной будущности. При том, в его любезном расположении ко мне очень много сходства с его сестрой»^[212].

Сам Александр Романович вспоминал позднее о Екатерине: «Она старалась быть чрезвычайно любезною в обращении со всем, в противоположность мужу, который оскорблял всех и каждого. Быть может, она уже тогда питала надежду некогда управлять Россиею»^[213]. Ища сторонников, императрица широко раскидывала сети. Пример Дашковой убеждал, что даже в семье фаворитки у нее найдутся сочувствующие. Но в середине апреля, как раз тогда, когда, по словам княгини, она «нашла нужным узнать настроение войск и петербургского общества», ее брата Александра назначили полномочным министром в Лондон.

По дороге молодой камергер должен был заехать в Пруссию, чтобы получить устные инструкции от Фридриха II^[214] – унижительная для русского посла деталь. К апрелю отношения Петра III с «Романовной» уже не вызывали у Воронцовых таких радужных надежд, как прежде, и симпатии молодого поколения семьи могли перейти к императрице. Поэтому удаление Александра из Петербурга оказалось очень уместным. Когда совершился переворот, Екатерина II не преминула заверить посла в своем добром расположении: «Вы не ошиблись, веря, что я не изменилась относительно вас. Я с удовольствием читаю ваши донесения и надеюсь, что вы будете продолжать вести себя также похвально»^[215].

Еще один родственник Дашковой – Николай Васильевич Репнин, будущий известный полководец и крупный масон – находился буквально на пороге заговора. Это был едва ли не первый поверенный, которому Екатерина Романовна открыла свои взгляды. «Он меня понял совершенно», – отмечала княгиня. И познакомил с Паниным, а сам оставался в кругу сочувствующих, не встречаясь с императрицей.

9 июня Петр III устроил обед в честь заключения союза с Пруссией, а вечером еще и ужин в узком кругу. Напившись так, что «его в четыре часа утра вынесли на руках, посадили в карету и увезли домой во дворец», император перед отъездом наградил Елизавету Воронцову орденом Св. Екатерины «и объявил князю Репнину, что назначает его министром-резидентом в Берлин, с тем, чтобы он исполнял все приказания и желания прусского короля». Николай Васильевич сообщил об этом княгине в пятом часу утра едва ли не как о крахе заговора: «Все потеряно; ваша сестра получила орден Св. Екатерины, а меня посылают министром и адъютантом прусского короля»^[216].

Для императрицы генерал-майор Репнин мог стать ценным союзником, т. к. командовал пехотным полком. Но князь отличился в Семилетней войне, нравился Петру III, часто сопровождал его, и осторожная Екатерина не пошла на сближение сама. А Репнин, как видно, предпочитал, чтобы оба лагеря считали его своим человеком. Государь не обманул надежд, отправив храброго воина полномочным министром к Фридриху II, а вместе с ним и полк, который должен был присоединиться к прусской армии, развернув оружие против австрийцев^[217].

Была ли миссия Репнина случайной? Или император назначал генерал-майора, памятуя о его ненадежном родстве? Во всяком случае, князь оказался уже третьим человеком из близкого окружения Дашковой, кого Петр III услав с почетным поручением подальше от Петербурга.

Четвертым изгнанником стал Строганов, которого по наущению жены просто сослали на дачу. 9 июня во время праздничного обеда в честь заключенного с Фридрихом II союза государь, придравшись к жене, назвал ее «дурой». Причем прокричал оскорбление через стол, чтобы слышали все. «Императрица залилась слезами и... попросила дежурного камергера графа Строганова, стоявшего за ее стулом, развлечь ее своим веселым, остроумным разговором»^[218].

Граф, «придворный юморист», скрыв собственное возмущение выходкой государя, пустился шутить, бросая настороженные взгляды на «своих врагов, окружавших императора, в числе которых находилась его жена, конечно, не пропустившая случая представить поступок мужа в дурном свете»^[219]. В другой редакции сказано еще резче: «Его жена, ненавидевшая его, была очень дружна с моей сестрой и с Петром III». Все-таки Екатерина Романовна терпеть не могла кузину Анну.

Сразу же после обеда Строганову было приказано оставить двор и отправляться на дачу на Каменном острове впредь до нового распоряжения. Там же Екатерина Романовна посоветовала скрыться и Одару.

Итак, по кругу общения Дашковой наносились точечные удары. Даже последующий арест Пассека, входившего именно в ее фракцию, подтверждал внимание к княгине. Саму молодую даму не трогали, поскольку она напоминала яркий поплавок на глади озера – попавшую рыбу снимали с крючка, а Екатерине Романовне предоставляли возможность по-прежнему привлекать потенциальных врагов режима хлесткими рассказами об императоре.

Такую политику трудно назвать непродуманной. Но государыня оказалась умнее сторонников мужа. Она тоже посчитала роль подруги выгодной. К Дашковой устремлялись люди, не слишком важные в заговоре. Их устраняли. А настоящий комплот зрел под рукой императрицы. В сущности, Екатерина подставляла тезку под удар. Делала ее приманкой для «олухов», одновременно предупреждая серьезных людей держаться подальше.

«Екатерина никогда не называла княгине Орловых, чтобы отнюдь не рисковать их именами», – сказано в одной из заметок государыни. Окружавшие подругу светские знакомые не могли стать опорой заговора. «По признанию самой Дашковой, они были менее решившимися, чем Орловы... у нее было более льстецов, чем людей, веривших в нее»^[220].

«Разумный план»

Но княгиня не знала об этой хитрости, ее голова была занята составлением планов переворота. И тут нас ждет новая лакуна в мемуарах. Создается впечатление, точно никакого плана не было вовсе. «Наш круг с каждым днем увеличивался численно; но... окончательный и разумный план все еще не созрел... хотя мы и согласились единодушно совершить революцию, когда его величество и войска будут собираться в поход на Данию»^[221].

По словам княгини, заговорщики никак не могли прийти к общему мнению: обменивались проектами, «которые были то составляемы, то отвергаемы». «Они казались мне, большею частью, праздными мечтами, без твердых начал и убеждений».

В беседах с Дидро наша героиня держалась той же линии. Переворот был «делом, сказала она, непонятного порыва, которым все мы бессознательно были увлечены... Все единодушно шли к одной и той же цели; в заговоре было так мало единства, что накануне самой развязки... казалось, не было и вопроса о том, чтобы провозгласить Екатерину императрицей. Ее возвел на престол крик четырех гвардейских офицеров»^[222]. Говоря о перевороте, княгиня «отвергла всякое притязание на него, как за себя, так и за других».

Странное признание. Мемуары поясняют эту мысль: «За несколько часов до переворота никто из нас не знал, когда и чем кончатся наши планы; в этот день был разрублен гордиев узел, завязанный невежеством, несогласием мнений насчет самых элементарных условий готовящегося великого события, и невидимая рука Провидения привела в исполнение нестройный план, составленный людьми, неподходящими друг другу, недостойными друг друга, непонимающими друг друга и связанными только одной мечтой, служившей отголоском желания всего общества. Они именно только мечтали о перевороте, боясь углубляться и разбирать собственные мысли, и не составляли ясного и определенного проекта. Если бы все главари переворота имели мужество сознаться, какое громадное значение для его успеха имели случайные события, им пришлось бы сойти с очень высокого пьедестала»^[223].

Интересна не скрытая полемика с Орловыми, а попытка убедить Дидро, будто речи не шло о короне для Екатерины II. Примерно тогда же, в замечаниях на книгу Рюльера княгиня признавалась: «Я не скрывала мыслей относительно того, что императрица должна стать правительницей до совершеннолетия сына». За возведение на престол цесаревича Павла выступал Панин. Дашкова как будто с ним соглашалась. В мемуарах она не раз назвала подругу «правительницей», а не самодержицей, и поместила обоснование конституционного строя:

«Каждый благоразумный человек, знающий, что власть, отданная в руки толпы, слишком порывиста или слишком неповоротлива... не может желать иного правления, кроме ограниченной монархии с определенными ясными законами»^[224]. Иными словами, государь «волен творить добро, но не имеет никакой возможности сотворить и малейшее зло».

По мысли Панина, его воспитанник должен был царствовать «следуя... формам шведской монархии», кроме того «он стоял за... содействие Сената». Княгиня подтверждала, что «императрица не имеет прав на престол, и по закону следовало бы провозгласить императором ее сына», «но Провидению не угодно было, чтобы удался *наш* самый благоразумный план».

Итак, проекты Никиты Ивановича названы *общими*, а их конечная цель — регентство для Екатерины — наиболее разумным и законным результатом переворота. Но позиция княгини в момент заговора вовсе не была столь устойчивой, как во время создания мемуаров, о чем свидетельствует ее переписка с подругой^[225].

Значит, вопрос о короне для Екатерины II обсуждался предварительно, и дело решил не только «крик четырех гвардейских офицеров». Это майор и капитан Измайловского полка

братья Н.И. и М.И. Рославлевы, измайловец же капитан М.Е. Ласунский и секунд-ротмистр Конногвардейского полка Ф.А. Хитрово, принявшие в 1763 г. участие в новом заговоре. На допросе Хитрово заявил о будто бы проведенной Паниным «подписке», «чтобы быть государыне правительницею, и она на это согласилась; а когда пришли в Измайловский полк и объявили про ту подписку капитанам Рославлеву и Ласунскому, то они ей объявили, что на то не согласны, а поздравляют ее самодержавною императрицею и велели солдатам кричать ура»^[226].

Все перечисленные лица входили во «фракцию» Дашковой. Их она назвала Панину как главных заговорщиков, с ними взялась обсудить предоставление короны цесаревичу. Впоследствии император Павел I очень не любил княгиню. Корни его ненависти не просто лежали в событиях переворота. Когда воспитанник спрашивал графа Никиту Ивановича, почему в роковой день корона досталась не ему – законному наследнику – а узурпатору, Панин, не кривя душой, мог ответить: моя племянница Дашкова взяла на себя обязательство договориться с гвардейцами, но при провозглашении подчиненные ей офицеры выкрикнули вашу мать самодержицей. Фактически Павел винил княгиню в предательстве.

Итак, можно более или менее уверенно говорить о стратегической цели – регентство для Екатерины II. Но вопросы тактики остаются открытыми. О них княгиня не обмолвилась ни словом. «Многое еще предстояло сделать до вожделенной минуты», – рассуждала она. Что же именно?

Иностранные дипломаты приписывали нашей героине самые решительные планы. Секретарь датского посольства Андреас Шумахер сообщал о фракции Дашковой: «Они устраивали совещания на квартире у юной, еще не достигшей двадцатилетнего возраста княгини... Замысел состоял в том, чтобы 2 июня старого стиля, когда император должен был прибыть в Петербург, поджечь крыло нового дворца. В подобных случаях император развивал чрезвычайную деятельность, и пожар должен был заманить его туда. В поднявшейся суматохе главные заговорщики под предлогом спасения императора поспешили бы на место пожара, окружили Петра III, пронзили его ударом в спину и бросили тело в одну из объятых пламенем комнат. После этого следовало объявить тотчас о гибели императора при несчастном случае и провозгласить открыто императрицу правительницей»^[227]. Заметим, Шумахер хорошо знал о планах регентства для Екатерины II. Это повышает доверие к его информации.

Рюльер наделял сторонников Дашковой не менее кровавыми планами: «Если бы желали убийства, тотчас было бы исполнено, и гвардии капитан Пассек лежал бы у ног императрицы, прося только ее согласия, чтобы среди белого дня в виду целой гвардии поразить императора... Отборная шайка заговорщиков под руководством графа Панина осмотрела его комнаты, спальню, постель и все ведущие к нему двери. Положено было в одну из следующих ночей ворваться туда силою, если можно, увезти; будет сопротивляться, заколоть и созвать государственные чины, чтобы отречению его дать законный вид»^[228].

Неудивительно, что подобные планы не попали в мемуары княгини. Годом позднее английский посол сэра Д.Г. Бекингхэмшир нарисовал образ нашей героини, никак не вяжущийся с «Записками»: «Ее идеи невыразимо жестоки и дерзки, первая привела бы с помощью самых ужасных средств к освобождению человечества, а следующая превратила бы всех в ее рабов. Если бы когда-либо обсуждалась участь покойного императора, ее голос неоспоримо осудил бы его, если бы не нашлось руки для выполнения приговора, она взялась бы за это»^[229].

Со своей стороны можем констатировать только, что княгиня опять промолчала там, где начиналось самое любопытное. И понудила заполнить белое пятно известиями из других источников. «О себе я должна сказать, что, угадав – быть может, раньше всех – возможность низвержения с престола монарха, совершенно неспособного править, я много над этим думала», – писала она. Иными словами, догадалась, что Петра III свергнут, и заранее при-

мкнула к победителю? Иногда Екатерина Романовна допускала очень красноречивые оговорки.

«Талант говорить дурное»

И снова об агитации. Рюльер помещал Екатерину Романовну в самую гущу гвардейской массы – в казармы. «Княгиня, уверенная в расположении знатных, испытывала солдат, – писал француз. – Орлов, уверенный в солдатах, испытывал вельмож. Оба... встретились в казармах и посмотрели друг на друга с беспокойным любопытством»^[230].

Конечно, явление княгини в казармах выглядело бы неприлично. Втягиванием в заговор нижних чинов занимались офицеры. Во фракции Дашковой – П.Б. Пассек. Именно ему императрица через подругу вручила собственноручную записку, которая подтверждала товарищам, что капитан говорит от ее имени: «Да будет воля Господа Бога и поручика¹⁸ Пассека! Я согласна на все, что может быть полезно отечеству».

Похожее письмо имелось и у Орловых: «Смотрите на то, что вам скажет тот, который показывает вам эту записку, так, как будто я говорю вам это. Я согласна на все, что может спасти отечество, вместе с которым вы спасете меня, а также и себя»^[231]. А вот Екатерине Романовне подобный документ был ни к чему. Она вела опасные разговоры в кругу друзей, знакомых и родни. Здесь ее рассказы о выходках Петра III имели успех.

Девять лет спустя, в феврале 1771 г., священник Британской церкви в Петербурге Джон Глен Кинг, знавший Дашкову по России и встретившийся с ней на дороге в Спа, жаловался английскому послу Джорджу Макартни, что княгиня, «приехав в Лондон», «очернила» его «как могла». «Вы знаете ее характер и талант говорить дурное»^[232], – добавлял пастор.

А мы? Ведь себя княгиня оценивала «с оттенком восхищения». Из ее текстов создается впечатление, будто она, как ребенок, говорила первое, что приходило на ум, и с детской непосредственностью удивлялась, чем обижены окружающие. Но это иллюзия. Анализируя мемуары, мы показали, насколько перед исследователем непростой, продуманный текст, умело затушевывающий все, о чем княгиня предпочитала не ставить публику в известность. Касаясь Петра III, она как-то обронила, что в разговорах с ним «всегда принимала тон балованного, упрямого ребенка». Ключевые слова: «принимала тон». Не та ли роль разыграна и в «Записках»?

Прямота и искренность – разные вещи. За внешним чистосердечием всегда обнаруживалась определенная цель. Екатерина II подчеркивала, что подруга не сдерживала себя, публично заявляя о пристрастии к императрице: «Так как она нисколько не скрывала этой привязанности... то поэтому она повсюду говорила о своих чувствах... Вследствие подобного поведения... несколько офицеров, не имея возможности говорить с Екатериною, обращались к княгине Дашковой, чтобы уверить императрицу в их преданности... считая последнюю более близкой к ней»^[233]. В данном случае декларируемая преданность позволила юной заговорщице выглядеть «более близкой» к императрице и разговаривать с той от лица обратившихся к ней офицеров. То есть набрать политический вес.

Другой пример. В начале XIX в. Кэтрин Уилмот писала родителям: «Княгине никогда не приходит в голову скрывать от кого-либо свои чувства – можете представить, в каком привилегированном положении она находится. Независимо оттого, приятна правда или нет, княгиня говорит ее всем в глаза. Слава Богу, что княгиня разумна и добра по натуре – в противном случае она была бы невыносима»^[234]. На протяжении жизни Дашковой встретится немало людей, готовых оспорить предпоследнее утверждение и согласиться с последним: невыносима. Но для нас важна цель: подчеркнуть, что «она первая по званию, положению, уму в любом обществе», требовать «по дворцовой привычке» «почтительного отношения к

¹⁸ Екатерина II ошиблась. Пассек был в это время капитаном Преображенского полка.

себе». Ведь говорить «правду» всякому в лицо и не слышать возражений от нижестоящих – действительно привилегия.

Таким образом, «свобода языка, доходящая до угроз», которая годом позже, во время заговора Хитрово, возмутит императрицу, была для Екатерины Романовны не целью, а средством. Благодаря названному качеству, наша героиня решала поставленные задачи. Значит, о спонтанности ее критических порывов речи не шло¹⁹.

При этом «правда» всегда оказывалась неприятной. «Она чересчур пристрастно судит о делах», – жаловался в 1803 г. после знакомства с Дашковой Ф.В. Ростопчин в письме к ее брату С.Р. Воронцову. «Мы не могли... [не] поспорить между собою»^[235]. Екатерина II посвящает подруге комедию под красноречивым названием «Именины госпожи Ворчалкиной».

О Петре III крестница тоже говорила вовсе не ложь, а неприятную правду. Хрестоматиен ее отзыв: «Поутру быть первым капралом на вахтпараде, затем плотно пообедать, выпить хорошего бургундского вина, провести вечер со своими шутами и несколькими женщинами и исполнять приказания прусского короля – вот что составляло счастье Петра III, и все его семимесячное царствование представляло собой подобное бессодержательное существование изо дня в день, которое не могло внушать уважения»; «Он как бы намеренно облегчал нам нашу задачу свергнуть его с престола, и это должно бы быть уроком для великих мира сего, что их низвергает не только их деспотизм, но и презрение к ним... возбуждающее всеобщее и единодушное стремление к переменам»^[236].

Очень точное наблюдение. Нет оснований утверждать, будто Дашкова утрировала, рисовала на императора карикатуру. Дипломатические донесения полны куда более резких отзывов. Так, прусский министр Карл фон Финкенштейн, которому по статусу полагалось симпатизировать Петру Федоровичу, писал: «Не блещет он ни умом, ни характером; ребячлив без меры, говорит без умолку, и разговор его детский, великого Государя не достойный... привержен он решительно делу военному, но знает из одного лишь мелочи; ...Слушает он первого же, кто с доносом к нему является, и доносу верит... Нация его не любит, да при таком поведении любви и ожидать странно»^[237].

А вот слова известного русского ученого А.Т. Болотова – в тот момент полицейского чиновника в Петербурге, часто бывавшего во дворце: «Редко стали уже мы заставлять государя трезвым и в полном уме... а чаще уже до обеда несколько бутылок аглицкого пива... опорожнившим. ...Он говаривал такой вздор и такие нескладницы, что при слушании оных обливалось даже сердце кровью от стыда перед иностранными министрами ...Всем нам тяжелый народный ропот и всеобщее час от часу увеличивающееся неудовольствие на государя было известно»^[238].

По страницам мемуаров Дашковой разбросано множество анекдотов про Петра III. То он на глазах у офицеров-измайловцев забавляется с негром Нарцисом и колет того полковым знаменем, чтобы «смыть позор» после драки с профосом (экзекутором). То требует у приближенных свою, императорскую, долю во взятке за несправедно решенное дело о сербах-переселенцах. Подобные сюжеты старательно собраны, и, надо думать, именно пересказывая их, княгиня осуществляла пропаганду. Неудивительно, что впоследствии о самой Екатерине Романовне будут передавать немало колких сплетен – как и в случае с Петром III, далеко не беспочвенных.

Однако нас интересуют не только произнесенные слова, но и те, что остались за рамками мемуаров. О чем княгиня умолчала? Прежде всего, о реформах Петра – пусть неудач-

¹⁹ Любопытно, что хорошо разбиравшаяся в людях Екатерина II никогда не писала об искренности подруги, хотя охотно признавала за той ум и храбрость. Чтобы перестать путать прямоту княгини с чистосердечием, обратим внимание на один факт: 2 января 1804 г. она публично примирилась с Алексеем Орловым, давшим в ее честь бал, а 10 февраля уже работала над «Записками», в которых обвинила этого человека в убийстве Петра III. Прошлое никогда не становилось для княгини прошедшим, и старые обиды не могли быть ни прощены, ни забыты.

ных, скомканных, начатых кое-как, но все-таки являвшихся предметом живого обсуждения в петербургском обществе.

«Записки» хранят глубокое молчание по поводу Манифеста «О вольности дворянства». Этот акт, как мы помним, вызвал умиление у князя Михаила Ивановича, предлагавшего поставить императору «золотую штатую». Названным документом было начато «раскрепощение» русского благородного сословия: оно получило право не служить, которого давно добивалось. Ненадолго Петр III стал так сильно любим, что его положение на престоле казалось незыблемым²⁰. Одним из вдохновителей манифеста называли отца Дашковой – Романа Илларионовича, имевшего на государя большое влияние.

Возможно, княгиня промолчала, чтобы не касаться его имени. Ведь она утверждала, будто ее батюшка при Петре III «был нулем»: «Мой отец не играл никакой роли при дворе; хотя государь и оказывал знаки внимания моему дяде канцлеру, но не руководствовался ни его советами, ни правилами здравой политики, которых он и не слушал»^[239].

Возможно, княгине не хотелось вообще затрагивать тему преобразований неудачливого монарха. Ведь мог возникнуть вопрос: а так ли уж плох государь, предпринявший подобную реформу?

Однако в умолчании княгини был и идейный подтекст. Манифест выбивал одно из звеньев вековой цепи, сковывавшей престол с дворянством, а дворянство с крепостными. Пока дворянин служил царю, крестьяне служили дворянину, а земля мыслилась как награда за ратный труд. Если барин становился свободен, то отпустить следовало и холопов. Так было бы справедливо, иначе нарушался принцип распределения большого, государственного «тягла» на всех жителей страны. Реальный процесс раскрепощения занял еще век. Большинство современников княгини, как писала Екатерина II, «вообще не понимало, что для слуг может существовать иное состояние, кроме рабства».

Сама Дашкова только с серьезными оговорками соглашалась на возможность освобождения крестьян. В беседе с Дидро в 1770 г. она сказала: «Если бы самодержец, разбивая несколько звеньев, связывающих крестьян с помещиком, одновременно разбил бы звенья, приковывающие помещиков к воле самодержавных государей, я с радостью и хоть бы свою кровью подписалась бы под этой мерой»^[240].

К тому времени «звенья», соединявшие дворянина с царем, были уже восемь лет как разбиты. Но даже когда Екатерина II значительно расширила и конкретизировала привилегии дворянства в Жалованной грамоте 1783 г., закрепившей за русскими права европейских благородных сословий, княгиня продолжала вести себя так, будто цепь по-прежнему прочна. В ином случае пришлось бы признать несправедливость владения крепостными и войти в конфликт с собой. Для нашей героини легче было находиться в конфликте с реальностью.

Ростопчин не зря писал об уже старой Дашковой: «Она... не хочет убедиться, что изменения и новизны приносятся самим временем»^[241]. Точное выражение. Княгине не хотела убеждаться. И создала свой особый мир, в котором дворянин служил, а значит, владел людьми по праву. Манифест взрывал эту картину. Поэтому не мог попасть в личное пространство Екатерины Романовны – в ее мемуары.

²⁰ Подробно об этих событиях и о том, как император растерял политический капитал, собранный для него советниками, рассказано в книге «Тайна смерти Петра III».

«Рыдая, как женщина»

Еще в начале июня Дашковой казалось, что переворот «отстоит... несколькими годами вперед». Но события развивались стремительно. Узел противоречий, затянувшийся вокруг августейшей семьи, невозможно было распутать. И нетерпеливый император решил разрубить его. Арестовать ненавистную жену, а официальной любовнице вручить орден Св. Екатерины – как залог ее будущих прав. Иными словами: обнаружить намерения жениться во второй раз.

Ссора с супругой на торжественном обеде 9 июня подтолкнула его к действиям. Вечером Петр, по обыкновению, напился и отдал роковой приказ об аресте, а на «Романовну» возложил красную орденскую ленту. Согласно «Запискам», к Дашковой с известием о награждении сестры прибежал Репнин. Но странное дело – кузен ни словом не обмолвился о решении государя взять императрицу под стражу. Кроме того, княгиня указала, что Петр захмелел на ужине в Летнем дворце. Создается впечатление, что Репнин с места вечеринки явился в дом кухни. Между тем все происходило под гостеприимной кровлей канцлера, где в тот момент находилась и племянница. Как в классической пьесе, было соблюдено единство времени, места и действия – разъятое позднее в мемуарах. Зачем?

При всей взбалмошности Петра III в его действиях можно проследить логику. Решение арестовать жену – пусть и желанное в течение многих лет – далось ему непросто. Екатерина Алексеевна обладала огромной популярностью в народе, на нее смотрели как «на последнюю надежду». Каждое появление императрицы на улице встречали волной ликования. «Были минуты, когда восклицания толпы разражались энтузиазмом, – писала она подруге. – ...Я часто провожала покойную императрицу в подобных случаях, но никогда не видела такого выражения народной любви»^[242].

Сочинялись фольклорные плачи от имени императрицы, в которых покинутая жена жаловалась на мужа и соперницу:

*Они думают крепку думушку,
Крепку думушку заединое.
Что хотят они меня срубить-сгубить*^[243].

Безымянным песельникам из толпы вторили и известные авторы, такие как Алексей Ржевский:

*Друзья, сошедшись со друзьями,
Залившись горькими слезами,
Вещают: гибнем, что начать?
Пойдем, пойдем Ее спасти*^[244].

В таких условиях императрица, по ее собственному признанию, не слишком боялась ареста: «Она знала... что вовсе не могли коснуться ее... особы без величайшего риска. Народ был ей всецело предан»^[245].

А вот Петр III – внешне сильный и всевластный – нуждался в поддержке, в помощи, в преданных людях. Поэтому он отправился в дом канцлера Михаила Воронцова, где чаял найти сторонников. За помощь клана император платил дорогую цену: брал «Романовну» в жены. Этого от него долго добивались, и теперь государь демонстрировал готовность, награждая любовницу «семейным» орденом русских царей.

Этим жестом Петр показал, что выбор сделан. Воронцовы выиграли: они станут новой августейшей семьей. «В тот самый вечер, когда возложена была на графиню Екатерининская лента, – вспоминала государыня, – [он] приказал адъютанту своему, князю Барятинскому, арестовать императрицу в ее покоях». Испуганный Барятинский поспешил к принцу Георгу

Голтингскому, дяде государя, рассказал ему, в чем дело, а тот, в свою очередь, «побежал к императору, бросился перед ним на колени и насилу уговорил отменить приказание»^[246].

А вот как происшествие описано у Дашковой. В рассказе нет ни сестры, ни екатерининской ленты, зато показана ссора с принцем Георгом. «Император посетил еще раз моего дядю, государственного канцлера, в сопровождении обоих Голштинских принцев и обычной свиты... Мне нездоровилось, и я отказалась от чести ужинать с императором... Каково было мое удивление, когда я узнала, что государь и его дядя принц Георгий, как настоящие прусские офицеры, из-за различия мнений в разговоре обнажили шпаги и уже собирались было драться, но старый барон Корф (женатый на сестре жены канцлера) бросился на колени перед ними и, рыдая, как женщина, объявил, что он не позволит им драться, пока они не проткнут шпагой его тело... Он прекратил эту глупую сцену, которая, по всей вероятности, сильно обеспокоила моего дядю, хотя и не присутствовавшего при ней, так как он лежал больной в постели... Жена его в испуге выбежала из комнаты в самом начале сцены и сообщила ему бог знает что»^[247].

Дата посещения не названа, как и предмет спора. Сама Дашкова, сестра-фаворитка, брат Семен, их отец и канцлер как будто не присутствуют за столом. К кому же приехал государь? Предположить, что Михаил Илларионович все еще болел – с момента смерти Елизаветы Петровны по начало июня, – трудно, ведь он уже 8 января появился при дворе. Важная деталь – нежелание самой Екатерины Романовны выходить к ужину: стало быть, она жила в тот момент у дяди.

Важны и обнаженные шпаги спорщиков. Значит, принц Георг готов был защищать императрицу от ареста не на коленях, а с оружием в руках. Теперь становится понятно, почему августейшая племянница во время переворота из всей родни только к нему пыталась отправить караул, чтобы спасти от разбушевавшихся мятежников^[248].

Сцена, описанная Дашковой, очень любопытно расположена в мемуарах. Сразу после рассказа об отъезде мужа из Петербурга «в феврале месяце» княгиня поместила историю с оскорблением императрицы во время торжественного обеда, но не назвала даты²¹, а следом вставила эпизод с посещением Петром III дома канцлера, подчеркивая, что дядя был еще болен и лежал. Михаил Илларионович оправился от своей дипломатической болезни в начале января, а до этого «был при смерти от одышки с очень сильной горячкою»^[249]. Таким образом, все события сдвигаются к зиме. И только несколькими страницами ниже, упоминая вечеринку в Летнем дворце, княгиня сообщала о визите Репнина и его патетическом восклицании: «Все потеряно; ваша сестра получила орден Св. Екатерины».

Однако до конца изгладить из мемуаров следы реального времени невозможно. «Петру III показалось, что торжественного обеда, о котором я упоминала, недостаточно для отпразднования заключения мира с прусским королем, – писала Дашкова, – и в Летнем дворце состоялся еще ужин... Тут Петр III по-своему изобразил радость, и его в четыре часа совершенно пьяного вынесли на руках, посадили в карету и отвезли домой во дворец»^[250].

Зачем императора повезли «домой», если он и так дома? Стало быть, указано неверное место попойки. Если вечеринку устроили после торжественного обеда, значит, княгиня в двух местах рассказала об одном событии, разорвав его.

Для чего? Следует помнить, что внутри «Записок» существует свой хронотоп, несопадающий с реальным. Пожилая Дашкова могла кое-что забыть, а могла, напротив, рассказывать именно так, как события выстроились в ее голове. Оба эпизода подтолкнули княгиню к действиям. После истории со шпагами она, «не теряя времени, старалась утвердить

²¹ Исследователи (не без влияния «Записок» Дашковой) часто путают два торжественных обеда в честь Фридриха II, устроенные Петром III. 14 февраля молодой государь отметил заключение мира с Пруссией, а 9 июня – подписание союзного договора. Именно на последнем император и назвал супругу «дурой».

в надлежащих принципах друзей мужа». А после случая с лентой Св. Екатерины «решила открыться графу Панину».

Если перед нами одно событие, то и общение с офицерами, и беседа с Паниным произошли вскоре после 9 июня. За девятнадцать дней до переворота. Что пересекается с обидным отзывом Екатерины II, будто от Дашковой все скрывали «в течение пяти месяцев» и только в последние «недели» ей сообщали «минимально возможные сведения»^[251].

Отнеся первые разговоры с будущими мятежниками едва ли не к зиме, княгиня «вратила» себя в заговор на раннем этапе. Растянула свое участие на те самые «пять месяцев», в которых ей отказала подруга.

Как соединить эти выводы с рассказами Марты Уилмот? Готовя мемуары к публикации, «ирландская дочь» писала издателю лорду С.Д. Гленберви о Дашковой: «Она отличалась необыкновенной простотой и правдивостью – качествами, которых в такой степени развития, как у нее, я не встречала решительно ни у кого, кроме тех, что говорят или пишут под присягой... Ничто не могло подкупить ее к приукрашиванию факта, ничто не могло удерживать от сообщения истины... Она думала, что для доказательства... достаточно одного ее свидетельства»^[252].

Глава 4. Триумф

Наступил «день трепета и счастья», как сама Екатерина Романовна назвала петербургскую «революцию». «Ей все кажется, что она живет в 1762 году»^[253], – много позже заметил язвительный Ф.В. Ростопчин. Вернее было бы сказать: в 28 июня 1762 г. переворот отбросил длинный солнечный луч на всю «темную и бедную жизнь»^[254] княгини. После страхов и волнений сердце Дашковой осыпало золотой пылью. А уже на следующий день – 29-го – в него ворвались чувства обиды и обмана. Наша героиня перестала ощущать себя *единственной*.

Летний сочельник

У каждого праздника есть свой канун. 28 июня, ставшее при Екатерине II официальным торжеством, родилось из страха и паники, едва прикрытой лихорадочным возбуждением. Заговорщики рассчитывали на другое число – 4 июля – когда император намеревался покинуть столицу и отправиться в поход против Дании. Как вдруг во фракции Дашковой произошел провал.

Был арестован Петр Богданович Пассек. Императрица не зря опасалась молодости и неопытности подруги: связанные с той офицеры действовали наименее умело. Среди солдат распространился слух, будто «Матушка» уже арестована, и они начали донимать командиров: «Пойдем, пойдем ее спасать». 26 июня капитаны Пассек и Бредихин посетили Дашкову, чтобы узнать последние известия от государыни. Они пожаловались, что им трудно сдерживать служивых, чья горячность может разоблачить заговор.

«Я поняла, что эти господа слегка трусят, – писала княгиня, – и, желая доказать, что не боюсь разделить с ними опасность, попросила их передать солдатам от моего имени, что я только что получила известие от императрицы, которая спокойно живет себе в Петергофе, и что советую им держать себя смирно, так как минута действовать не будет упущена»^[255]. «Пассек и Бредихин немедленно отправились в казармы с моим поручением»^[256].

Будучи на деле посредницей между императрицей и некоторыми офицерами, Екатерина Романовна чувствовала себя командиром. Отдавала приказы, распоряжалась нижними чинами и, судя по «Запискам», свято верила, что солдаты видят в ней главу заговора: «Их офицерам стоило большого труда их удержать, и им это, пожалуй, не удалось бы, если бы я не разрешила им сказать солдатам», что государыня жива-здора.

Однако Дашкова сама нуждалась в посредниках, способных говорить с рядовыми. Получалось что-то вроде испорченного телефона. Неудивительно, что гвардейцы мало цены давали подобным заверениям. Для них княгиня была товаркой «Матушки» – не более. Поэтому увещевания Пассека, де успокойтесь, «та, за которую нам следует собою пожертвовать, находится вовсе не в такой беде, как вам наговорили, и мы сегодня имели о том известие», – не произвели впечатления. Один недоверчивый капрал направился со своими стражами к поручику П.И. Измайлову, который на беду не состоял в заговоре. Тот донес майору П.П. Воейкову, последний – полковнику Ф.И. Ушакову. Сообщение направили императору в Ораниенбаум, а пока, от греха подальше, посадили изобличенного Пассека под арест.

Вскоре после переворота княгиня писала старому знакомцу своего дяди-канцлера русскому послу в Варшаве графу Г. Кейзерлингу: «Император... почел это извещение бездельею и пренебрег нужною в таком деле скоростью. Пассека сторожили двенадцать солдат с обнаженными тесаками; но он радовался, слушая, как солдаты говорили, что окно открыто, уйти можно, что они готовы сделать все, что он им скажет, и пойдут за ним, куда ему угодно... Но он не внял их предложению и остался героем в своем заключении... Он основательно расчел, что, поспешив выйти на волю, он только умножит смущение и тревогу, прежде чем мы успеем распорядиться оказанием ему помощи»^[257].

Однако, судя по дальнейшим действиям заговорщиков, помощь арестованному товарищу – последнее, о чем они помышляли. Началась гонка с препятствиями, в которой главный приз выиграл бы тот, кто раньше сумел доставить императрицу в Петербург.

Пассека взяли под стражу около восьми вечера. Узнав об этом, Григорий Орлов отправился оповестить Панина и нашел его у Дашковой. Екатерина Романовна, правда, утверждала, что Орлов искал именно ее и застал в гостях Никиту Ивановича. В послании к Кейзерлингу княгиня не смогла даже написать ненавистное имя фаворита, настолько Григорий Григорьевич вызывал ее ярость и презрение: «Было уже около 11 часов вечера, когда один

офицер пришел сказать нам, что арестован Пассек... перед тем только что ушедший от меня. Судите, как мы были поражены очевидностью нашей общей опасности!» А вот в мемуарах, когда страсти отшумели, и виновник несчастий давно умер, он назван прямо: «Григорий Орлов пришел сообщить мне об аресте».

По прошествии сорока с лишним лет главным врагом стал «цареубийца» Алексей Орлов. В письме Кейзерлингу княгиня еще не стеснялась знакомства с ним: «Как скоро от меня разошлись, я отправилась пешком к Синему Мосту и там оставалась в надежде, не повстречается ли мне кто-нибудь из моих. И действительно, я увидела Алексея Орлова, который, по его словам, шел ко мне, обсудить, что им делать».

После гибели Петра III даже факт знакомства с такой личностью, как Алексей, мог бросить тень на Екатерину Романовну. Поэтому в «Записках» встреча со вторым из братьев выглядит случайной: «Не прошла я и половины дороги, как увидела, что какой-то всадник галопом несется по улице. Меня осенило вдохновение, подсказавшее мне, что это один из Орловых. Из них я видела и знала одного только Григория... Я крикнула: “Орлов!” ... Он остановился».

Благодаря метаморфозе с братьями – кого упоминать, а от кого отрекаться – следует сделать вывод, что письмо Кейзерлингу появилось сразу после переворота, еще до убийства Петра III.

Но это не единственная загадка текста. В письме сказано: «Около 11 часов вечера». В воспоминаниях: «После полудня». Специалисты по-разному объясняют это разночтение. Одни – ошибкой Марты Уилмот, которая при переписывании текста французское слово «minuit» – полночь – неверно перевела как английское полдень – «midi»^[258]. Другие – волей самой Дашковой-мемуаристки, которая, зная, что молва приписывает ей любовную связь с Паниным, не захотела давать сплетникам карты в руки. Ведь Никита Иванович находился у молодой женщины ночью. А муж тем временем оставался в отъезде^[259].

В письме Кейзерлингу княгиня ни слова не говорит о своем костюме, который играет такую важную роль в воспоминаниях: «Я, не теряя ни минуты, накинула на себя мужскую шинель, и направилась пешком к улице, где жили Рославлевы». Знаковый шаг. Играя в мужские игры, следует выглядеть, как мужчина. Во время верховой езды или скрытых посещений императрицы Дашкова часто переодевалась кавалером. Заговор являлся как бы продолжением этого сценического пространства. И здесь шинель казалась уместной, хотя выглядела княгиня очень нелепо, в длинной и широкой мужниной форме. Ведь Михаил Иванович отличался высоким ростом.

Есть в поступке Дашковой и иная символика. Она надела шинель мужа, который на начальном этапе принадлежал к заговору. Его друзей княгиня «унаследовала» для того, чтобы использовать в перевороте. Таким образом, Екатерина Романовна словно подменила собой уехавшего, приняла на себя его функции. И – дурной знак – как бы заранее похоронила²².

О колебаниях позиции Дашковой много говорят ее действия в роковой момент. Панин решил, что торопиться некуда. Надо разузнать, не совершил ли капитан какого-нибудь служебного проступка. С этим он и отправил Орлова восвояси. К немалому огорчению племянницы, горевшей жаждой деятельности. «Щадя меня, Панин старался скрыть, как велика беда, которой я заодно с ним подвергалась. Он показывал вид, будто вовсе не встревожен этим случаем, и говорил, что нечего принимать какие-либо меры до завтрашнего утра... На мой взгляд, дело принимало такой важный оборот, что время было слишком дорого...

²² Существовала неписаная традиция, по которой жены донашивали за умершими мужьями их вещи, упоминания о чем встречаются в мемуарах того времени. Именно в форму покойного супруга оделась блаженная Ксения Петербургская, начав подвиг юродства.

Поэтому я притворилась, что устала и хочу спать». Как только Никита Иванович удалился, племянница вышла на Синий Мост ловить «своих».

Тут ей повстречался Алексей Орлов. Кейзерлингу княгиня просто передает суть разговора: послать Рославлева к гетману Разумовскому, а самому ехать за Екатериной в Петергоф. В мемуарах маленький фельдмаршал произносит, стоя на обочине, целый монолог: «Скажите Рославлеву, Ласунскому, Черткову и Бредихину, чтобы они сию же минуту отправлялись в Измайловский полк и оставались при своих постах с целью принять императрицу в окрестностях города. Потом вы или один из ваших братьев молнией летите в Петергоф и от меня просите государыню немедленно сесть в почтовую повозку, которая уже приготовлена для нее, и явиться в лагерь измайловских гвардейцев: они готовы провозгласить ее главой империи и проводить в столицу».

Представим себе, как это выглядело. Женщина в длинной, метущей мостовую шинели на ночной улице. Недаром Алексей Орлов сразу предложил проводить княгиню домой. Однако Дашкова отвергла всякое притязание сильного пола на покровительство. Она отдавала распоряжения. Он должен был подчиниться.

Обратим внимание: в мемуарах Екатерина II названа «правительницей» или «главой империи». Кейзерлингу же по горячим следам сказано: «провозглашена Государыней». Сразу после переворота не имело смысла отрицать очевидное. Другое дело в начале нового, XIX века, когда само желание ограничить монархию вызывало у читателей сочувственный интерес.

«Может быть, я сама приеду и встречу ее, – продолжала княгиня в разговоре с Орловым. – Скажите ей, что дело такой важности, что я даже не имела времени зайти домой и известить ее письменно, что я на улице и изустно отдала вам поручение привезти ее без малейшего замедления»^[260].

Клод Рюльер ставил Алексею Орлову в вину то, что он не передал императрице записки от Дашковой: «Один из сих братьев... отправлен был от княгини с запиской в сих словах: “Приезжайте, государыня, время дорого”. ...Означенный Орлов... разбудил свою государыню и, думая присвоить своей фамилии честь революции, имел дерзкую хитрость утаить записку княгини Дашковой и объявил императрице: “Государыня, не теряйте ни минуты, спешите”»^[261].

Станный упрек, ведь княгиня сама признавала, что не писала подруге. Стало быть, после переворота разговоры о записке велись в окружении Дашковой. Но почему княгиня в действительности не написала ни слова? Неужели нельзя было вернуться в дом и чиркнуть пару строк? Или на худой конец передать послание через час с Федором Орловым, вновь заглянувшим к Екатерине Романовне? Рискнем предположить, что Дашкова поступила так по той же причине, по которой не поехала утром встречать императрицу за город. Ее горячий энтузиазм имел пределы. Будь посыльный схвачен вместе с письмом, и княгине не удалось бы отпереться от участия в заговоре.

Рассказывая о том, как каждый из заговорщиков намеревался поступить в случае провала, Рюльер замечал: «Княгиня не приготовила себе ничего и думала о казни равнодушно». Так и слышатся обороты речи самой Дашковой: «присвоить... честь революции», «думала о казни равнодушно». В реальности Екатерина Романовна провела тревожную ночь: «Я предалась самому печальному раздумью. Мысль боролась с отчаянием и самыми ужасными представлениями. Я горела желанием ехать навстречу императрице, но стеснение, которое я чувствовала от моего мужского наряда, приковало меня среди бездействия и уединения к постели. Впрочем, воображение без усталости работало, рисуя по временам торжество императрицы и счастье России. Но эти сладкие видения сменялись другими страшными мечтами... Екатерина, идеал моей фантазии, представлялась бледной, обезображенной... умирающей, жертвой более, возможно, нашей любви к ней, чем нашей безрассудности... Моим един-

ственным утешением было то, что я также буду предана смерти, как все те, кого я вовлекла в свою погибель»^[262]

«Канальи»

Стоило княгине задремать, как раздался «страшный стук в ворота». Это явился Федор Орлов с вопросом, не рано ли посылать за государыней. По словам мемуаристки, она «остолбенела». «Я была вне себя от гнева и тревоги... и выразилась очень резко насчет дерзости его братьев, медливших с исполнением моего приказанья... Теперь не время думать об испуге императрицы... Лучше, чтоб ее привезли сюда в обмороке или без чувств, чем, оставив ее в Петергофе, подвергать риску... взойти вместе с нами на эшафот».

Из рассказа Дашковой видно, что промедление случилось по вине Орловых, которым пришлось два раза повторять приказ. Того же мнения держался и Панин, три года спустя поведавший свою версию датскому посланнику А.Ф.ASSEBERGU. Узнав об аресте Пассека, он вызвал к себе Алексея Орлова, «гвардейского офицера, посвященного в тайну», и приказал ему предупредить четырех капитанов своего полка, чтобы они были готовы к следующему утру. После чего Алексей должен был отправиться в резиденцию и привезти императрицу в возке, находившемся у камер-юнгферы Шкуриной. Никита Иванович уверял, что «отправил в Петергоф... наемную карету в шесть лошадей». В столице Екатерине надлежало ехать в казармы «кавалергардского полка для принятия от него присяги, оттуда... в полки Измайловский, Преображенский, Семеновский и во главе этих четырех полков» явиться «в новый дворец, остановившись на пути у Казанского собора, чтобы там дожидаться великого князя, которого Панин привезет к ней».

Обратим внимание, что воспитатель царевича намеревался доставить мальчика в Казанский собор, где производилась присяга. В этом случае крест поцеловали бы маленькому Павлу, а его матери только в качестве регентши – «главы империи». Кроме того, бросается в глаза, что привезти императрицу, по рекомендации Панина, следовало не в Измайловский, а в Конногвардейский полк. Как показали дальнейшие события, среди измайловцев оказалось много сторонников самодержавного правления Екатерины.

Об этих распоряжениях дяди Дашкова или не знала, или умалчивала. Зато оба в один голос заверяли, что в промедлении виновны Орловы. «По его расчету, – писал датчанин о Панине, – Алексей Орлов в четыре часа должен был быть в Петергофе, а государыня после пяти часов утра в Петербурге. Каждая минута была дорога и каждая рассчитана... Пробыло пять часов, и никакого известия не приходило; пробыло шесть, а известий все нет. Алексей Орлов пал духом, вместо того, чтобы ехать тотчас в Петергоф, он в четыре часа утра еще раз явился к княгине Дашковой узнать – не последует ли какой перемены в решении, и уехал, наконец, только тогда, когда княгиня приказала ему немедленно отправиться в путь для предупреждения обо всем императрицы»^[263].

Как видим, при разнице некоторых деталей главное в показаниях княгини и воспитателя совпадает – Орловы проявили колебания и потеряли время.

Со своей стороны Екатерина II была убеждена, что главы вельможной группировки отговаривали гвардейских заводил от скоропалительных решений. Орловы поспешили в Петергоф вопреки их желанию. После ареста Пассека, писала она, «трое братьев Орловых... немедленно приступили к действиям. Гетман и тайный советник Панин сказали им, что это слишком рано; но они *по собственному побуждению* послали своего второго брата в карете в Петергоф»^[264].

Верить в данном случае следует императрице, поскольку именно при таком развитии событий картина первых часов переворота приобретает логичность. Многочисленные приходы того или другого из братьев на квартиру к главам вельможной группировки были попытками поторопить: не пора ли ехать за «Матушкой»? Наконец, около четырех утра на свой страх и риск Орловы решились.

В таком случае объяснимо отсутствие записки от Дашковой – Екатерина Романовна просто не знала, что Алексей Орлов *уже* поскакал в Петергоф. Это вовсе не исключает разговора на улице, но ставит под вопрос его содержание. Становится понятно, почему княгиня не поспешила встретить императрицу за городом. Ссылка на жмуший мужской костюм, якобы «приковавший» юную героиню «к постели», выглядит неуклюже. А вот неведение о реальном ходе событий вполне понятно: Дашкова, как и Панин, проспала начало «революции». Когда она открыла глаза, все важное уже совершилось. «Эта потрясающая ночь, в которую я выстрадала за целую жизнь, наконец, прошла; и с каким невыразимым восторгом я встретила счастливое утро, когда узнала, что государыня вошла в столицу и провозглашена главой империи».

Что касается Никиты Ивановича, то он прилег у кровати воспитанника в Летнем дворце, дурно провел ночь, а наутро обнаружилось, что присяга уже совершена. Без великого князя. В пользу императрицы. И кого, собственно, было винить? Только Орловых.

Однако если предположить, что Екатерина Романовна все-таки торопилась, спроваживала дядю, на словах согласившись с ним, а сама разыскивала заговорщиков на улице, то картина снова станет неоднозначной. Вельможные игроки договорились действовать «завтра», а вечно метущаяся Дашкова пренебрегла интересами великого князя. Даже отправила в Петергоф карету. Согласно «Запискам», это совершилось после разговора с Пассеком и Бредихиным.

«Не рассчитывая на то, что офицерам удастся удержать солдат, я написала госпоже Шкуриной, жене камердинера императрицы, чтобы она немедленно же послала своему мужу в Петергоф наемную карету, запряженную четверней, и сообщила бы ему, что я прошу задержать карету, не выпрягая лошадей, чтобы в случае надобности императрица могла ею воспользоваться для приезда в Петербург, так как ей, конечно, нельзя было бы взять придворную карету».

Обратим внимание, Никита Иванович заявлял, что это он послал экипаж. Племянница знала о подобных притязаниях и отвергала их: «Панин, думая, что событие совершится в отдаленном будущем, признал эту меру совершенно ненужной; однако не будь этой кареты, бог весть, осуществились бы наши планы».

У победы много отцов... По разным источникам можно проследить четыре экипажа, посланных за государыней в Петергоф. Кареты Дашковой и Панина, возок, на котором примчался Орлов, а, кроме того, анонимный украинский автор из окружения К.Г. Разумовского упомянул, что и гетман посылал ее величеству некое транспортное средство^[265].

Судя по тому, что на обратном пути лошадь в карете Алексея Орлова пала от усталости, капитан вывез императрицу на том же экипаже, на котором приехал сам. За Екатериной следили и, надо думать, карета, находившаяся у Шкурина, была под приглядом.

В письме к Кейзерлингу Дашкова не упоминала посланный ею экипаж. Вероятно, Панин мог оспорить это утверждение. А вот в момент написания мемуаров Никита Иванович уже 20 лет как почивал в Бозе. Вряд ли, Екатерина Романовна знала, как много дядя успел поведать датскому послу Ассебургу. Мемуаристы вообще редко предполагают, что, помимо их свидетельств, позднейшие исследователи будут обращаться к солидному кругу источников.

Например, наша героиня обошла молчанием судьбу 18-летнего брата Семена, как если бы он сам не оставил воспоминаний. Длинное письмо-исповедь пожилого посла появилось в 1796 г. и было адресовано другу Ф.В. Ростопчину. Через восемь лет Ростопчин близко общался с княгиней. Говорил ли он ей о мемуарах брата? Давал ли читать? Во всяком случае, на текст «Записок» они не оказали влияния.

По словам Екатерины Романовны, единодушные войска, расквартированных в Петербурге, было полным. Это не так. Наиболее преданным императрице считался Измаловский

полк. Однако измайловцы уступали старшинство двум первым созданным в России гвардейским полкам – Семеновскому и Преображенскому. Между ними неизбежно должно было начаться соперничество.

Сама Екатерина так описывает присягу Преображенского полка. «Мы направились к Казанской церкви, где я вышла из кареты. Туда прибыл Преображенский полк... Солдаты окружили меня со словами:

– Извините, что мы прибыли последними, наши офицеры арестовали нас, но мы схватили четверых из них с собой, чтобы доказать вам наше усердие!.. Мы желаем того же, что и наши братья»^[266].

Этими офицерами были С.Р. Воронцов, брат Дашковой, П.И. Измайлов, П.П. Воейков и И.И. Черкасов. Семен служил поручиком в первой гренадерской роте и был любим Петром III за «неодолимый порыв к военному ремеслу». Накануне переворота он испросил разрешения отправиться «охотником» в армию П.А. Румянцева, уже выступившую в поход против Дании, и получил согласие государя. Но не успел покинуть столицу. Воронцов уже сел в дорожную карету, когда ему сообщили, «что императрица находится в Измайловском полку, который шумно окружает ее с радостными кликами, провозглашая Государыней, и что ей присягают; что целые толпы Семеновского полка бегут к тому же месту... и что, без сомнения, совершается решительный и заранее подготовленный переворот».

Любопытно, что характерами брат и сестра напоминали друг друга. «Я был нетерпелив, как француз, и вспыльчив, как сицилиец, – писал о себе Семен Романович. – Я пришел в невыразимую ярость при этом известии... Полагаясь, однако же, на верность Преображенского полка, я не думал, чтоб мятежники могли иметь перевес».

Воронцов прискакал в свой полк. Преображенцы уже выстроились перед казармами и готовились выступить. Возле своей роты он встретил несколько офицеров, среди которых были Бредихин, Баскаков и князь Федор Барятинский. «Я... высказываю им о поступке мятежников все, что крайняя раздражительность моего характера внушает мне в эту минуту, при чем выражаю уверенность, что они, и вместе с ними весь наш полк, мы подадим пример верности прочим войскам». Трое заговорщиков ничего не ответили ему, «бледные, расстроенные».

«Я принял их только за трусов... Отвернувшись от них, я поспешил обнять моего капитана, Петра Ивановича Измайлова, одного из храбрейших и вернейших слуг нашего несчастного государя... Он надеялся, так же как и я, что полк не увлечется». Вместе они начали обходить ряды гренадер, увещевая тех, «что лучше умереть честно, верным подданным воином, чем присоединиться к изменникам, которые будут побеждены». Им навстречу проскакал секунд-майор Петр Петрович Воейков, восклицая: «Ребята, не забывайте вашу присягу!» Вместе они склонили гренадер на сторону императора, и те даже закричали: «Умрем за него!»

Воейков повел солдат к Казанскому собору, чтобы воспротивиться приносимой там присяге. «Мы надеялись... что, по первом выстреле на нас со стороны мятежников... ударим на них в штыки всей тяжестью нашей колонны, сомнем их и уничтожим: ибо они толпились в расстройстве, без рядов и линий, как мужики, собранные случайно и большей частью в пьяном виде; мы же были в стройном порядке».

Если бы преображенцы послушались офицеров, приверженцев Петра III, произошло бы кровопролитие. Но, на счастье заговорщиков, сзади к колонне гренадер присоединился премьер-майор князь А.А. Меншиков и крикнул им в спины: «Vivat императрица Екатерина Алексеевна, наша самодержица!» И вдруг вся колонна повторила этот призыв. «Это было электрическим ударом». Воейков бросил шпагу со словами: «Ступайте к черту, каналы, е. м., изменники! Я с вами не буду!» – повернул лошадь и ускакал. «Я не знаю, как и почему случилось, что нас не убили», – признавал Воронцов. Он кинулся к реке искать лодку, чтобы

плыть в Ораниенбаум, предупредить императора, но был схвачен. «Я вынул шпагу из ножен, обернулся и нанес удар, который скользнул по шляпе и по плечу моего дерзкого противника... Меня окружили и задержали». Схваченных офицеров преображенцы притащили к собору в числе других арестованных, как доказательство своей преданности новой самодержице. Об этом позоре Семен Романович умолчал.

Затем пленных посадили на гауптвахту Зимнего дворца. «Я не упал духом и начал говорить унтер-офицеру и шести мушкетерам, как человек, уверенный в том, что их предприятие окончится дурно, и что законный государь останется победителем». Но эта агитация не удалась, и арестанта перевели в дом дворцового ведомства «напротив старого деревянного дворца». Семен оставался под арестом 11 дней и был выпущен только 8 июля, спустя несколько суток «после кончины императора».

Как Екатерина Романовна не упомянула о брате, так и Семен Романович не назвал имени сестры. С «ужасного и мерзостного дня» их отношения были испорчены. Почему Дашкова не попросила за младшего брата – в сущности, еще мальчишку? Забыла? Закрутилась в вихре событий? Не захотела выслушивать упреки? «Прибывши в наш дом, – заключал Воронцов, – я нашел в нем множество солдат, ибо мой отец и моя сестра [Елизавета] были тоже арестованы»^[267].

Мундир

Дашкова не поехала навстречу императрице под веским дамским предлогом – неготовности мужского платья, в котором юная мятежница хотела явиться среди повстанцев. Этот незначительный эпизод проводит четкую грань между реальными заговорщиками и теми, кто играл в заговор. Наверное, пыльный и усталый Алексей Орлов, полночи скакавший туда и обратно по Петергофской дороге, выглядел не слишком привлекательно.

Сама Екатерина поднялась в шесть часов утра с постели, «даже не сделав толком туалет, села в карету»^[268]. Шаг достойный удивления. Императрица, всю жизнь так много внимания уделявшая театрализации своих жестов, в решающий момент умела отодвинуть второстепенное, ради важного, бутафорское, ради настоящего. Только в середине дня 28 июня, оказавшись в Летнем дворце, государыня, которой уже присягнули гвардейские полки и Сенат, сумела умыться, переодеться и причесаться как следует.

Дашкова же попала во дворец очень поздно, когда присяга уже совершилась. Курьезно, что этот приезд один из биографов княгини – А.И. Воронцов-Дашков – назвал «смелым решением» и подчеркнул, что наша героиня «рисковала жизнью»^[269]. Переворот фактически совершился, и Екатерину Романовну могли разве что раздавить ликующие толпы. Княгиня едва пробилась через них, изрядно помяв платье. Однако в глазах Екатерины Романовны, даже этот эпизод стал триумфом. «Перо мое бессильно описать, как я до нее (до императрицы. – О.Е.) добралась. Все войска, находившиеся в Петербурге, присоединились к гвардии, окружили дворец, запрудив площадь и все прилегающие улицы. Я вышла из кареты и хотела пешком пойти через площадь; но я была узнана несколькими солдатами и офицерами, и народ меня понес через площадь высоко над головами. Меня называли самыми лестными именами, обращались ко мне с умилением, трогательными словами и провожали меня благословениями... вплоть до приемной императрицы, где и оставили меня, как потерянную манжету. Платье мое было помято, прическа растрепалась, но своим кипучим воображением я видела в беспорядке моей одежды только лишнее доказательство моего триумфа»^[270].

Дамы кинулись «друг другу в объятья» со словами: «Слава Богу! Слава Богу!» И рассказали, как провели разделявшие их часы: бегство императрицы из Петергофа, тоскливое бездействие Дашковой. «Мы еще раз обнялись, и я никогда так искренно, так полно не была счастлива, как в этот момент!» Признание в любви? Прямое и пылкое. Огромный спектакль переворота сузился до одной сцены, где осталось место только для двоих. Но уже в следующую минуту декорации снова раздвинулись. Императрица нужна была всем. Подругу смывало прибойной волной царедворцев и заговорщиков.

Если обратить внимание, сколько раз за день 28 июня Дашкова переезжала из дворца домой и обратно, возвращалась к Екатерине II, напоминала о себе яркими театральными жестами, то становится ясно: княгиня нарочно старалась заполнить чем-то время. «Заметив, что императрица была украшена лентой Св. Екатерины и еще не надела Андреевской – высшего государственного отличия – ... я подбежала к Панину, сняла с его плеч голубую ленту и надела ее на императрицу, а ее Екатерининскую, согласно с желанием ее, положила в свой карман». Этой алой ленте, надетой на черное платье, в котором в дни траура по Елизавете Петровне петербуржцы привыкли видеть новую императрицу, вскоре суждено было сыграть важную роль.

«Государыня предложила двинуться во главе войск на Петергоф и пригласила меня сопровождать ей, – продолжает рассказ Екатерина Романовна. – ...Желая переодеться в гвардейский мундир, она взяла его у капитана Талызина, а я, следуя ее примеру, у лейтенанта Пушкина»^[271] На эти мундиры стоит обратить внимание. Императрица облачилась в семеновский. Если бы преобразенцы поспешили с присягой, она непременно предпочла

бы форму первого из русских гвардейских полков. Но служивые промедлили, в том числе и благодаря стараниям брата Дашковой. Его поведение, с точки зрения княгини, не могло считаться патриотичным. И Екатерина Романовна как бы исправляет ситуацию, одеваясь в форму поручика Преображенского полка Михаила Ивановича Пушкина, близкого друга семьи. Она точно подменяет собой брата, как прежде подменяла мужа. Слабая женщина выполняет их, мужские, функции.

Самой княгине такой поступок казался едва ли не геройством. Но для традиционного сознания он был поруганием военной формы. Чин следовало заслужить. В мундире приносили присягу. Все его атрибуты от офицерского знака на шее до шпаги с темляком и трехцветного пояса-шарфа были в глазах дворянина овеяны святостью религиозного ритуала и повседневного ратного риска. Мундир не мог фигурировать на театральной сцене, также как и церковное облачение. Его, в отличие от простой мужской одежды, не использовали в маскарадах. Срывая с новых «прусских» мундиров Петра III офицерские знаки и нацепляя их на собак, участники переворота, уже облаченные в старые «елизаветинские» кафтаны, совершали осознанный акт глумления над «вражеской» формой.

Надев такой же, как у брата мундир, сестра попыталась символически занять его место среди офицеров. Этого унижения и этого издевательства щепетильный Семен не смог ей простить. В 1764 г., сожалея о смерти зятя, Семен Романович напишет, что князь Дашков не участвовал в «бешенствах и неистовствах жены своей»^[272]. Публичное облачение в гвардейский мундир и ношение его, подобно маскарадному костюму, были в глазах тогдашних офицеров именно «неистовством». Перед походом на Петергоф Екатерина Романовна попросила одного из своих родственников В.С. Нарышкина, служившего в Измайловском полку, одолжить ей шляпу. Но тот отказал со словами: «Ишь, бабе вздумалось нарядиться шутихой, да давай ей еще и шляпу, а сам стой с открытой головой!»^[273]

Этот эпизод показывает, что наша героиня не понимала знаковую недопустимость собственных действий: ей все казалось, что она на маскараде, ведь офицерская шляпа Измайловского полка не могла быть надета с мундиром Преображенского. Окружающие чувствовали театральную подмену и сердились на Дашкову.

Казалось бы, подруги совершали одно и то же кощунство. Но действия одной приветствовались, а второй осуждались. Значит, имелись важные различия. Участники переворота жаждали увидеть Екатерину II в гвардейской форме – облачение в мундир означало, что государыня принимает одну из важных функций императора – командование полками. Ни о каком шутовстве речи идти не могло. Действие было сугубо сакральным. Но в отношении княгини начинал работать принцип: что позволено Юпитеру, не позволено быку Юпитера.

Объявив себя самодержицей и приняв крестное целование, а затем миропомазание, Екатерина II выпадала из круга обычных людей, становилась монархом. Отныне она не совсем принадлежала миру сему. Когда блаженная Ксения Петербургская надела форму покойного мужа, она в глазах современников начала подвиг юродства – тоже выпала из «мира». И государь, и святой стояли вне общества, над ним. Их шаги были иными по сути и оценивались иначе, чем шаги простых смертных. Дашкова же оставалась «бабой», «шутихой», а не юродивой, и не царицей. Образование в просвещенческом ключе размывало для нее строгие рамки традиции. Отсюда вытекало не просто недопонимание знаковости собственных действий, а другая знаковость. Если Дашкова смотрела на себя «с оттенком восхищения», то окружающие – с оттенком осуждения. Эти взгляды не могли быть примирены, поскольку подразумевали разные изначальные ценности.

«Я уехала домой переодеться, – вспоминала княгиня, – а по возвращении моем я застала ее [Екатерину II] в совете, рассуждавшем о будущем манифесте. Так как известие о бегстве императрицы из Петергофа... уже могло дойти до Петра III, то я думала, что он двинется к Петербургу... Я подошла к государыне и на ухо сообщила ей свою мысль, сове-

туя принять всевозможные меры... Мое нечаянное появление в совете изумило почтенных сенаторов, из которых никто не узнал меня... Екатерина сказала им мое имя... Сенаторы единодушно встали со своих мест... Я покраснела и отклонила от себя честь, которая так мало шла мальчику в военном мундире»^[274].

Если бы Екатерина II нуждалась в Дашковой в момент составления манифеста, она бы ее позвала. Но, видимо, княгиня боялась, что о ней забудут, и потому постоянно вращалась возле обожаемого кумира. Цитируя сообщения о восторженных толпах, носивших юную мятежницу на руках, или о «почтенных сенаторах», как по команде вставших приветствовать Дашкову, мы хотим на время отвлечь читателя от вопроса о достоверности приведенных фактов. Важно показать, как чисто сценическими средствами Екатерина Романовна подчеркивала свое значение для переворота.

Был еще один фарсовый момент, связанный с именем княгини. «Повсюду уже распускали слух, будто император накануне вечером упал с лошади и ударился грудью об острый камень, после чего в ту же секунду скончался»^[275], – сообщал датский посол Андреас Шумахер. Его сведения подтверждал Рюльер: «Вдруг раздался слух, что привезли императора. Понуждаемая без шума толпа раздвигалась, теснилась и в глубоком молчании давала место процессии, которая медленно посреди ее пробиралась. Это были великолепные похороны, во время которых гроб пронесли по главным улицам, и никто не знал, кого хоронят. Солдаты, одетые по-казацки, в трауре несли факелы... Часто после спрашивали об этом княгиню Дашкову, и она всегда отвечала так: “Мы хорошо приняли свои меры”. Вероятно, эти похороны были предприняты, чтобы между чернию и рабами распространить весть о смерти императора, удалить на ту минуту всякую мысль о сопротивлении»^[276].

Старый учитель Петра III Якоб Штелин приводил слова гусарских офицеров, обращенные 29 июня к арестованным голштинским солдатам: «Нас обманули и сказали, что император умер»^[277]. Казацкая свита при гробе как будто указывает на гетмана Кирилла Разумовского. Отзыв Дашковой – на ее осведомленность о фальшивых похоронах. Вельможная группировка не предполагала, что после переворота свергнутый государь останется жив. Расчет делался на быструю смерть в ходе возмущения.

Амазонки

Столица признала Екатерину II. Но оставалось еще захватить свергнутого императора и принудить его к отречению. «Около 10 часов вечера я облеклась в гвардейский мундир, села верхом... выступила во главе войск, и мы всю ночь шли на Петергоф»^[278], – писала императрица Понятовскому.

Поход на Петергоф был яркой, но уже не опасной страницей истории. Голштинские войска в десять раз уступали по численности тем полкам, которые двинулись против них. Массовое действо, красочное зрелище – этот поход концентрировал в себе все театральное, что было в перевороте. Поэтому здесь Дашкова оказалась на месте.

При чтении записок Екатерины Романовны создается впечатление, что на фоне гвардейских полков должны были явственно виднеться две женские фигуры в мундирах. «Мы сели на коней и поехали во главе двенадцатитысячного войска»^[279], – сказано в одной редакции. Несколько иначе эта фраза звучит в другой: «Мы сели на своих лошадей и по дороге в Петергоф осмотрели двенадцать тысяч войска»^[280]. Однако ехать во главе армии или осматривать растянувшиеся вдоль дороги полки – не одно и то же.

Если сопоставить рассказ Дашковой с другими известиями о перевороте, то привычная картина изменится. Рюльер писал о Екатерине II: «Она села верхом... и вместе с княгиней Дашковой, также на лошади и в гвардейском мундире, объехала кругом площадь, объявляя войскам, как будто хочет быть их генералом... Полки потянулись из города навстречу императору. Императрица опять вошла во дворец и обедала у окна... потом села опять на лошадь и поехала перед своею армией»^[281]. А Дашкова? Сопутствовала ли она Екатерине? Ехала ли с нею рядом? Сама государыня и в письме к Понятовскому, и позднее в автобиографических записках ни слова не говорит о совместном путешествии: «Я... поместилась во главе войск, и мы всю ночь продвигались к Петергофу»^[282].

Кажется, пары бок о бок скакавших амазонок все-таки не было. Никто не имел права затенять императрицу. Очень немногие из солдат знали Екатерину II в лицо. Для того и понадобился символ – женщина в гвардейской форме, скачущая верхом – чтобы всем стало ясно: вот государыня. Это был намек на покойную императрицу Елизавету Петровну. М.В. Ломоносов писал:

*Внемлите все пределы света
И ведайте, что может Бог!
Воскресла нам Елисавета:
Ликует церковь и чертог,
Елизавета – Катерина,
Она из обеих едина.*

Дама на коне с обнаженной шпагой в руках – вот государыня для огромной массы гвардейцев. К ней направлялись волны ликования. Чтобы поддерживать в войсках восторг, воодушевление, любовь, нужно было постоянно показываться им. Один человек физически не мог быть сразу в нескольких местах. Поэтому появляется «вторая» Екатерина – дублер в той же форме, на такой же лошади. И, вероятно, с алой орденской лентой через плечо, которую так недавно сняла с себя настоящая государыня.

Недаром мемуаристы не отметили совместного пути Екатерины и Дашковой, они обращали внимание только на «государыню», но на какую?

Явление двух Екатериин во главе полков было смелым и опасным режиссерским решением. Оно могло стать как триумфом постановки, так и ее провалом. Может ли царица дво-

иться в глазах подданных? Конечно, нет. Поэтому подруги и не ехали в Петергоф бок о бок. Одна из них скакала впереди полков, другая появлялась то там, то здесь, вызывая крики ура и ликование. Конечно, подобная картина могла вскружить голову молодой Дашковой. Недаром впоследствии она называла день 28 июня – самым счастливым днем своей жизни. Екатерина Романовна купалась в выплеснувшихся на нее восторгах, в грозном реве приветствий, и относила их на свой счет.

Было бы справедливо предположить, что постановка «Две Екатерины», как и большая часть сценических находок переворота 28 июня, принадлежала выдающемуся русскому актеру и режиссеру Ф.В. Волкову, одному из участников заговора 1762 г. Ему выпало высшее режиссерское счастье – поставить не театральное, а собственно историческое действо, в котором исполнителями стали реальные люди: вельможи, солдаты, толпа, поверженный государь... и одна императрица в двух лицах.

Мы уже говорили, что Дашкова обожала гиперболы. Утверждение в мемуарах, будто накануне переворота она не сомкнула глаз 15 ночей подряд («Я сильно устала и не спала вот уже пятнадцать дней»; «Вы не спали две недели, вам восемнадцать лет, и ваше воображение усиленно работает»), стоит в одном ряду с 60 градусными морозами под Новгородом и щедрыми кредитами иностранных дипломатов, якобы предложенными княгине. В письме Кейзерлингу сказано просто: «Первые три дня постоянно была я на ногах и на коне и ложилась всего на два часа времени». Вероятно, это и следует считать правдой.

Утомленные дорогой, наши амазонки оказались в местечке под названием Красный Кабак и переночевали на одном, брошенном на кровать плаще. Это тоже деталь куртуазной игры, незаметно для читателя вплетенная в мемуарное повествование. «Нам необходим был покой, особенно мне, – писала Дашкова, – ибо последние пятнадцать ночей я едва смыкала глаза. Когда мы вошли в тесную и дурную комнату, государыня предложила не раздеваясь лечь на одну постель, которая при всей окружающей грязи была роскошью для моих измученных членов. Едва мы расположились на постели, завешенной шинелью... я заметила маленькую дверь позади изголовья императрицы... Я поставила у нее двух часовых, приказав им не трогаться с места без моего позволения»^[283]. Никакой опасности не было, кругом на много верст до Петербурга растянулись войска заговорщиков, но все же княгиня проявляла заметные предосторожности, сама осматривала «тесный и темный коридор, соединявшийся с внешним двором». Снова жест, и снова на глазах у государыни, которая, надо полагать, уже начала уставать от навязчивой распорядительности подруги.

«Мы не могли уснуть, и ее величество начала читать мне целый ряд манифестов, которые подлежали опубликованию по нашем возвращении в город», – сообщала Дашкова. Многие биографы, начиная с Герцена, принимают на веру эти слова. Две подруги, будущие преобразовательницы, лежат «под одним одеялом»^[284] и обсуждают *реформы*. Жаль, что их мечты не сбылись!

Перед читателями снова сугубо литературный ход – третья и главная подмена, на которую претендовала Екатерина Романовна. В этом эпизоде она предъявляет права на первенствующее место рядом с монархом. Место наперсника, даже канцлера – своего оставшегося под арестом дяди. Чтобы подчеркнуть подобные претензии, и понадобились черновики указов.

Сама Екатерина, тоже описавшая ночлег в Красном Кабаке, ни словом не упомянула обсуждение с подругой государственных бумаг. Да и было бы странно везти с собой в кратковременный поход материалы для будущих законодательных актов.

«Здесь все имело вид настоящего военного предприятия, – вспоминала императрица, – солдаты разлеглись на большой дороге, офицеры и множество горожан, следовавших из любопытства, и все, что могло поместиться в этом доме, – вошло туда». Екатерина «бро-силась на минуту в кровать, но, не будучи в состоянии закрыть глаза, лежала неподвижно,

чтобы не разбудить княгиню Дашкову, спавшую возле нее, но, повернув нечаянно голову, она увидела, что ее большие голубые глаза открыты и обращены на нее, что заставило их громко расхохотаться, потому что они считали одна другую заснувшей и взаимно одна другой оберегали сон»^[285].

После отъезда из Петергофа в обратный путь, Екатерина и Дашкова, согласно запискам княгини, провели еще одну ночь вместе: «Мы... остановились на несколько часов на даче князя Куракина. Мы легли с императрицей вдвоем на единственную постель, которая нашлась в доме»^[286]. Можно предположить, что на даче богатого вельможи кроватей было также мало, как в заурядном кабаке, но главное здесь уже не куртуазная сторона событий, а способ, которым княгиня подчеркивала близость к государыне, нераздельность с ней во время всего похода. Она ни на минуту не покидала подругу, и ела и спала с ней, охраняя свое сокровище от посягательств.

Совсем иначе возвращение из Петергофа описано Екатериной II в послании к Понятовскому. По словам императрицы, первый отдых она позволила себе лишь на следующий день после десяти часов вечера: «Я отправилась вместе с войсками, но на полпути свернула на дачу Куракина, где бросилась одетой на кровать. Один из офицеров снял с меня сапоги. Я проспала два часа с половиной»^[287]. Дашкова в качестве спутницы не упомянута.

Подобная предосторожность объяснима: Екатерина обращалась к бывшему возлюбленному, хорошо понимавшему особенности взаимоотношений при дворе. Она не желала лишних вопросов со стороны Понятовского о роли Дашковой не столько в перевороте, сколько в ее личной жизни. Тем более осторожно императрица должна была вести себя с Орловыми. Их недовольство казалось куда более опасным.

Соперник

В Петергофе Дашкову ждало самое горькое разочарование в дружбе с Екатериной II. Именно тогда, согласно «Запискам», между двумя амазонками впервые пролегла разделяющая тень. Мужчины. Соперника.

Княгине казалось, что именно она распоряжается всем и вся. «Мне постоянно приходилось бегать с одного конца дворца в другой и спускаться к гвардейцам, охранявшим все входы и выход». В реальности управлять разбушевавшейся, уже отчасти хмельной гвардейской массой было нелегко даже офицерам. Молоденькой же Екатерине Романовне представлялось, будто гвардейцы относятся к ней с детским доверием и готовы выполнять ее приказы: «Я была принуждена выйти к солдатам, которые, изнемогая от жажды и усталости, взломали один погреб и своими киверами черпали венгерское вино... Мне удалось уговорить солдат вылить вино... и послать за водой; я была поражена этим доказательством их привязанности... ко мне, тем более что их офицеры до меня безуспешно останавливали их. Я раздала им остаток сохранившихся у меня денег и вывернула карманы, чтобы показать, что у меня нет больше... Я обещала, что по возвращении их в город им дадут водки на счет казны и что все кабаки будут открыты»^[288].

В письме Кейзерлингу сообщалось, что во время выхода к солдатам княгиню сопровождали офицеры: «Я с Бредихиным и Баскаковым ходила по гвардейским и армейским полкам уговаривать солдат, чтобы они не напивались, и раздала им несколько сот моих собственных червонцев»^[289]. Позднее из мемуаров имена сопровождающих исчезнут, сократив дистанцию между Дашковой и служивыми. Но в реальности молодой женщине не следовало одной появляться среди хмельной вооруженной массы.

«Я возвращалась к государыне, – писала княгиня. – Каково было мое удивление, когда в одной из комнат я увидела Григория Орлова, лежавшего на канаве (он ушиб себе ногу) и вскрывавшего толстые пакеты, присланные, очевидно, из совета; я их узнала, так как видела много подобных пакетов у моего дяди... Я спросила его, что он делает.

– Императрица повелела мне открыть их, – ответил он.

– Сомневаюсь, – заметила я, – эти пакеты могли бы оставаться нераспечатанными еще несколько дней, пока императрица не назначила бы соответствующих чиновников; ни вы, ни я не годимся для этого»^[290].

Дашкова лукавила. Себя-то она как раз предназначала для роли советника, иначе Орлов не получил бы от нее столь резкий выговор. В доме дяди-канцлера племянница проявила интерес к политическим проблемам очень рано. Теперь она совершила переворот и была готова знакомиться с текущей документацией, но ее опередили. И кто? В беседе с Дидро Екатерина Романовна назвала фаворита «циническим развратником, совершенно чуждым государственным делам»^[291].

Дело было даже не в личных качествах Григория Григорьевича, а в его посягательстве на роль, которую Дашкова мысленно отвела себе. Она шаг за шагом присваивала сферы деятельности родных-мужчин. Заговор, командование гвардейцами и, наконец, решение государственных дел. Супруг отправлен в Константинополь, брат арестован, отец и дядя-канцлер взяты под стражу в столице. И вдруг героиня споткнулась о какого-то мужлана. Он, а не «завербованные ею» и потому зависимые от нее Панин и Разумовский, помешали Дашковой совершить последнюю – двойную – подмену. Соединить функции сестры и дяди, фаворитки и канцлера. Характерно, что это совершил мужчина, ущербный в глазах традиционного общества – любовник государыни. До какой-то степени тоже травести, сочетавший обязанности своего пола с сугубо «женскими» – услаждать покровителя. Если других муж-

чин можно было победить силовыми методами, то, как бороться с таким «перевертышем», княгиня не знала.

После описанного подвига с венгерским вином вид развалившегося на диване Орлова выглядел особенно оскорбительно: ведь это его мужское дело утихомиривать солдат. «Возвратившись во дворец, я увидела, что в той же комнате, где Григорий Орлов лежал на канапе, был накрыт стол на три куверта... Вскоре ее величеству доложили, что обед подан; она пригласила и меня, и я к своему огорчению увидела, что стол был накрыт у того самого канапе»^[292].

Выход княгини к пьяным гвардейцам как бы взят с обеих сторон в рамку из двух неприятных сцен с Орловым. Дашкова настолько была потрясена и расстроена, что не смогла скрыть раздражения: «Моя грусть или неудовольствие (скорее и то и другое, так как я искренне любила императрицу) очевидно отразились на моем лице, потому что государыня спросила меня, что со мной... С той минуты я поняла, что Орлов был ее любовником, и с грустью предвидела, что она не сумеет этого скрыть»^[293].

Показать Орлова именно в таком нахально-валяжном облике – удачный композиционный шаг. Пока шла подготовка к перевороту, о Григории почти не упоминалось. Появился он раньше в своей действительной роли вербовщика гвардейских душ, и с ним пришлось бы поделиться лаврами организатора «революции». Возникая же на самом излете переворота да еще в малопочтенной роли, Григорий – явный антигерой. Он пришел только для того, чтобы пожать плоды чужих трудов и присвоить себе права, принадлежащие только Дашковой. Эти права – политические и личные – Орлов узурпирует буквально на глазах у читателя.

А Екатерина II, вместо того чтобы защитить возлюбленную, предлагает ей... жизнь втроем. От этого можно было потерять самообладание, особенно при горячем темпераменте княгини. Но надо же понять и другую сторону. Собирая Дашкову и Орлова за одним столом, императрица предприняла столь характерную для нее попытку внешне сохранить согласие между представителями разных группировок и даже обратилась к подруге за помощью. «Она меня попросила поддержать ее против Орлова, который, как она говорила, настаивал на увольнении его от службы... Мой ответ был вовсе не таков, какого она желала бы. Я сказала, что теперь она имеет возможность вознаградить его всевозможными способами, не принуждая его оставаться на службе»^[294].

Екатерина перенесла ту же сцену в Петербург. «Когда императрица с триумфом вернулась в город, – писала она, – ...капитан Орлов пал к ее ногам и сказал ей: “Я вас вижу самодержавной императрицей, а мое отечество освобожденным от оков... Позвольте мне удалиться в свои имения”. ...Императрица ему ответила, что заставить ее прослыть неблагодарной... значило бы испортить ее дело; что простой народ не может поверить такому большому великодушию, но подумает, что... она недостаточно его вознаградила»^[295].

Обратим внимание, отставки после переворота просил Орлов. А «неблагодарной», подавшей «повод к неудовольствию» императрица прослыла под пером подруги. Слишком резкая и несдержанная на язык Дашкова с самого начала отказалась делить доверие государыни с кем бы то ни было. Ее поведение можно назвать политической негибкостью, оно грозило конфронтацией среди сторонников Екатерины II. Рюльер сообщал, что Дашкова, приняв «строгий нравоучительный тон», выговаривала подруге за «излишнюю милость» к Орлову^[296].

Императрица, в свою очередь, была вынуждена упрекнуть Екатерину Романовну «за раздражительность». Характерна реакция княгини: «Я ответила сухо, и мое лицо, как мне потом передавали, выражало глубокое презрение:

– Вы слишком рано принимаетесь за упреки, ваше величество. Вряд ли всего через несколько часов после вашего восшествия на престол, ваши войска, оказавшие мне столь неограниченное доверие, усомнятся во мне»^[297]. Это звучало как угроза. Но Екатерина II

остро чувствовала, кто ее истинная опора. Она могла пожертвовать княгиней, но не Орловыми.

Впрочем, последние не всегда могли защитить новую монархиню. Императрица описала пьяный переполох, случился уже по возвращении в столицу: «В полночь в мою комнату вошел капитан Пассек, разбудил меня и сказал: — Наши люди страшно перепились... гвардейцы, взяв оружие, явились сюда, чтобы выяснить, здоровы ли Вы. Они заявляют, что уже три часа Вас не видели...

Я села с двумя офицерами в карету и поехала к войскам. Я чувствую себя хорошо, сказала я им, и прошу их идти спать и дать мне тоже отдохнуть... После этого они пожелали мне доброй ночи... и удалились кроткие, как ягнята»^[298].

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Комментарии

1.

Письма Кэтрин Вильмот // Е.Р. Дашкова. Записки. Письма сестер Вильмот из России. М., 1987. С. 301.

2.

Герцен А.И. Княгиня Екатерина Романовна Дашкова // Дашкова Е.Р. Записки 1743–1810. Л., 1985. С. 258.

3.

Храповицкий А.В. Памятные записки. М., 1990. С. 268.

4.

Пушкин А.С. Пол. собр. соч. М. —Л., 1937–1949. Т. XII. С. 337.

5.

Записки княгини Е.Р. Дашковой. Россия XVIII столетия в изданиях Вольной русской типографии А.И. Герцена и Н.П. Огарева. Лондон, 1859. С. 5–6.

6.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 3–4.

7.

Шватченко О.А. Светские феодальные вотчины России в эпоху Петра I. М., 2002. С. 294.

8.

История родов российского дворянства. Кн. 2. СПб., 1886. С. 19.

9.

Пушкин А.С. Полн. собр. соч. М.—Л., 1937–1949. Т. 8. С. 42.

10.

Там же. С. 167.

11.

Дашкова Е.Р. Указ. соч. С. 162.

12.

Бессарабова Н.В. Е.Р. Дашкова при дворе русских императриц // Е.Р. Дашкова. Портрет в контексте истории. М., 2004. С. 53–54.

13.

Там же. С. 60–61.

14.

Там же.

15.

Записки княгини Е.Р. Дашковой. Россия XVIII столетия в изданиях Вольной русской типографии А.И. Герцена и Н.П. Огарева. Лондон, 1859. С. 6.

16.

Там же. С. 4.

17.

Бессарабова Н.В. Указ. соч. С. 53.

18.

Захарова О.Ю. Граф А.Р. Воронцов и граф Н.П. Шереметев // Воронцовы – два века в русской истории. Владимир, 1992. С. 60.

19.

Тычинина Л.В. Бессарабова Н.В. «...Она была рождена для больших дел». Летопись жизни Е.Р. Дашковой. М., 2009. С. 12.

20.

Письма Марты Вильмот // Е.Р. Дашкова. Записки. Письма сестер Вильмот из России. М., 1987. С. 372.

21.

Тычинина Л.В. Великая россиянка. М., 2002. С. 30

22.

Записки, оставшиеся по смерти княгини Натальи Борисовны Долгорукой. СПб., 1912.

23.

Соловьев С.М. Сочинения. Т. 25. М., 1994. С. 103–105.

24.

Дашкова Е.Р. Записки 1743–1810. Л., 1985. С. 5–6.

25.

Болотина Н.Ю. Женщины рода Воронцовых в повседневной жизни императорского двора XVIII в. // Е.Р. Дашкова и золотой век Екатерины. М., 2006. С. 146.

26.

Там же. С. 150–153.

27.

Архив князя Воронцова. Кн. V. М., 1872. С. 12.

28.

Тычинина Л.В. Указ. соч. С. 54.

29.

Черкасов П.П. Двуглавый орел и королевские лилии. М., 1995. С. 98 – 100.

30.

Строев А.Ф. Авантюристы просвещения. М., 1998. С. 108–110.

31.

Архив князя Воронцова. Кн. XVI. М., 1880. С. 68.

32.

Воронцов-Дашков А.И. Московская библиотека княгини Е.Р. Дашковой // Екатерина Романовна Дашкова. Исследования и материалы. СПб., 1996. С. 136–139.

33.

Дашкова Е.Р. Указ. соч. С. 4, 6.

34.

Кросс А.Г. Британские отзывы о Е.Р. Дашковой // Екатерина Романовна Дашкова. Исследования и материалы. СПб., 1996. С. 29

35.

Воронцов А.Р. Записки // Русский архив. 1883. С. 231–232.

36.

Дашкова Е.Р. Указ. соч. С. 10.

37.

Берков П.Н. Ломоносов и литературная полемика его времени. Л., 1936. С. 156.

38.

Модзалевский Л.Б. Литературная полемика Ломоносова и Тредиаковского в «Ежемесячных сочинениях» 1755 года. «XVIII век». Сб. 4. М.—Л., 1959. С. 45–65.

39.

Дашкова Е.Р. Указ. соч. С. 6.

40.

Рюльер К.К. Указ. соч. С. 61.

41.

Веселая Г.А. Фирсова Е.Н. Москва в судьбе княгини Дашковой. М., 2002. С. 27.

42.

Воронцов А.Р. Указ. соч. С. 246.

43.

Дашкова Е.Р. Указ. соч. С. 6.

44.

Записки княгини Е.Р. Дашковой. Лондон, 1859. С. 10.

45.

Тычинина Л.В. Указ. соч. С. 31–32.

46.

Записки княгини Е.Р. Дашковой. Лондон, 1859. С. 9.

47.

Письма Марты Вильмот // Е.Р. Дашкова. Записки. Письма сестер Вильмот из России. М., 1987. С. 278.

48.

Рюльер К.К. Указ. соч. С. 67–68.

49.

Кросс А.Г. Указ. соч. С. 39.

50.

Рюльер К.К. Указ. соч. С. 67.

51.

Бекингемшир Д.Г. Записки // Русская старина. 1902. Т. 109. № 3. С. 657.

52.

Дашкова Е.Р. Указ. соч. С. 7–8.

53.

Веселая Г.А. Фирсова Е.Н. Указ. соч. С. 14.

54.

Екатерина II. Записки о перевороте 1762 года // Со шпагой и факелом. 1725–1825. Дворцовые перевороты в России. М., 1991. С. 345.

55.

Веселая Г.А. Фирсова Е.Н. Указ. Соч. С. 11.

56.

Черкасов П.П. Указ. соч. С. 208.

57.

Анисимов Е.В. Россия в середине XVIII века // В борьбе за власть. Страницы политической истории России XVIII века. М., 1988. С. 247.

58.

Тычинина Л.В. Указ. соч. С. 24.

59.

Анисимов Е.В. Указ. соч. С. 249.

60.

Письма Марты Вильмот // Е.Р. Дашкова. Записки. Письма сестер Вильмот из России. М., 1987. С. 283.

61.

Архив князя Воронцова. Кн. XXI. М., 1881. С. 380.

62.

Суворин А.А. Княгиня Екатерина Романовна Дашкова: Исследования А.А. Суворина. СПб., 1888. С. 20–21.

63.

Дашкова Е.Р. Указ. соч. С. 33.

64.

Дашкова Е.Р. Продолжение отрывка записной книжки // Новые ежемесячные сочинения. 1791. Ч. 66. С. 5.

65.

Дашкова Е.Р. Истины, которые знать и понимать надобно, дабы, следуя оным, избежать несчастий // Новые ежемесячные сочинения. 1795 г. Ч. 114. С. 3.

66.

Храповицкий А.В. Памятные записки. М., 1990. С. 268.

67.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 135.

68.

Щербатов М.М. О повреждении нравов в России //Столетие безумно и мудро. М., 1986. С. 320, 332, 336.

69.

Кросс А.Г. Указ. соч. С. 29.

70.

Щербатов М.М. Указ. соч. С. 359.

71.

Дашкова Е.Р. Указ. соч. С. 14.

72.

Тычинина Л.В. Указ. соч. С. 75.

73.

Дашкова Е.Р. Нечто из записной моей книжки // О смысле слова «воспитание». Сочинения, письма, документы. СПб., 2001. С. 222–223.

74.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 9, 14.

75.

Веселая Г.А. Фирсова Е.Н. Указ. соч. С. 11.

76.

Архив князя Воронцова. Кн. XVI. М., 1880. С. 4.

77.

Дашкова Е.Р. Тоисиоков // Е.Р. Дашкова. О смысле слова «воспитание». СПб., 2001. С. 187.

78.

Дневник статского советника Мизере // Екатерина. Путь к власти. М., 2003. С. 54, 55.

79.

Воронцов-Дашков А.И. Екатерина Дашкова. М., 2010. С. 48.

80.

Дашкова Е.Р. Тоисиоков // Е.Р. Дашкова. О смысле слова «воспитание». СПб., 2001. С. 187.

81.

Архив князя Воронцова. Кн. III. М., 1872. С. 475.

82.

Дашкова Е.Р. Записки 1743–1810. Л., 1985. С. 7.

83.

Там же.

84.

Сафонов М.М. Екатерина Малая и ее «Записки» // Екатерина Романовна Дашкова. Исследования и материалы. СПб., 1996. С. 19.

85.

Екатерина II. Сочинения. М., 1990. С. 458.

86.

Бройтман Л.И. Петербургские адреса Е.Р. Дашковой // Екатерина Романовна Дашкова. Исследования и материалы. СПб., 1996. С. 193.

87.

Мыльников А.С. Петр III. М., 2002. С. 83.

88.

Архив князя Воронцова. Кн. V. Ч. I. М., 1872. С. 172.

89.

Письма Марты Вильмот // Е.Р. Дашкова. Записки. Письма сестер Вильмот из России. М., 1987. С. 269.

90.

Письма императрицы Екатерины II // Записки княгини Е.Р. Дашковой. Россия XVIII столетия в изданиях Вольной русской типографии А.И. Герцена и Н.П. Огарева. Лондон, 1859. С. 308.

91.

Дашкова Е.Р. Указ. соч. С. 15–16.

92.

Екатерина II. Записки о перевороте 1762 года // Со шпагой и факелом. 1725–1825. Дворцовые перевороты в России. М., 1991. С. 345.

93.

Дашкова Е.Р. Указ. соч. С. 16–17.

94.

Письма императрицы Екатерины II // Записки княгини Е.Р. Дашковой. Лондон, 1859. С. 299–313.

95.

Шумахер А. История низложения и гибели Петра III // Со шпагой и факелом. М., 1991. С. 281.

96.

Позье И. Записки придворного бриллиантщика // Со шпагой и факелом. М., 1991. С. 324.

97.

Екатерина II. Сочинения. М., 1990. С. 463.

98.

Воронцов С.Р. Автобиография. // Русский архив. 1876. Кн. 1. Вып. 1. С. 35.

99.

Екатерина II. Записки // Слово. 1989. № 2. С. 83.

100.

Дополнение к Запискам Дашковой. Рассказ издательницы их // Записки княгини Е.Р. Дашковой. М., 1990. С. 405.

101.

Письма императрицы Екатерины II // Записки княгини Е.Р. Дашковой. Лондон, 1859. С. 301.

102.

Там же. С. 301.

103.

Подробнее о том, как этот принцип преломлялся в зеркале культуры XVIII в. смотри мою статью «Ау, сокол мой» // Наука и религия. 1994. № 3.

104.

Дюби Ж. Куртуазная любовь и перемены в положении женщины во Франции XII в. // Одиссей. Человек в истории. Личность и общество. М., 1990. С. 91–94.

105.

Дашкова Е.Р. Указ. соч. С. 7.

106.

Там же. С. 16–17.

107.

Письма императрицы Екатерины II // Записки княгини Е.Р. Дашковой. Лондон, 1859. С. 302–303.

108.

Там же. С. 303.

109.

Рюльер К.К. История и анекдоты революции в России в 1762 г. // Екатерина II и ее окружение. М., 1996. С. 67–68.

110.

Письма императрицы Екатерины II // Записки княгини Е.Р. Дашковой. Лондон, 1859. С. 303–304.

111.

Рюльер К.К. Указ. соч. С. 68–69.

112.

Екатерина II и ее окружение. М., 1996. С. 422.

113.

Письма императрицы Екатерины II // Записки княгини Е.Р. Дашковой. Лондон, 1859. С. 311–312.

114.

Курукин В.И. Анна Леопольдовна // Вопросы Истории. № 6. 1997. С. 34.

115.

«Англофилия у трона». Британцы и русские в век Екатерины II. Сост. Э. Кросс. Лондон, 1992. С. XIII.

116.

Рюльер К.К. Указ. соч. С. 69.

117.

Екатерина II. Записки о перевороте 1762 года // Со шпагой и факелом. 1725–1825. Дворцовые перевороты в России. М., 1991. С. 345.

118.

Заичкин И.А., Почкаев И.Н. Екатерининские орлы. М., 1996. С. 141.

119.

Там же.

120.

Дашкова Е.Р. Указ. соч. С. 19.

121.

Веселая Г.А. Фирсова Е.Н. Москва в судьбе княгини Дашковой. М., 2002. С. 73–74.

122.

Письма императрицы Екатерины II // Записки княгини Е.Р. Дашковой. Лондон, 1859. С. 307.

123.

Записки княгини Е.Р. Дашковой. Лондон, 1859. С. 25–27.

124.

Архив князя Воронцова. Кн. V. Ч. I. М., 1872. С. 1–5.

125.

Екатерина II. О смерти императрицы Елизаветы Петровны // Сочинения. М., 1990. С. 463.

126.

Письма императрицы Екатерины II // Записки княгини Е.Р. Дашковой. Лондон, 1859. С. 302, 304.

127.

Там же. С. 305

128.

Понятовский С.А. Мемуары. М., 1995. С. 167.

129.

Шумахер А. История низложения и гибели Петра III // Со шпагой и факелом. 1725–1825. Дворцовые перевороты в России. М., 1991. С. 272.

130.

Записки княгини Е.Р. Дашковой. Лондон, 1859. С. 29.

131.

Мыльников А.С. Указ. соч. С. 145.

132.

Тычина Л.В. Бессарабова Н.В. Княгиня Дашкова и императорский двор. М., 2006. С. 20.

133.

Записки княгини Е.Р. Дашковой. Лондон, 1859. С. 29.

134.

Дашкова Е.Р. Указ. соч. С. 21.

135.

Там же. С. 26–27.

136.

Екатерина II. Сочинения. М., 1990. С. 470.

137.

Письма Петра III к Фридриху II // Екатерина. Путь к власти. М., 2003. С. 211.

138.

Введенский Г.Э. Кирасиры. Кавалерия русской армии. СПб., 2004. С. 18

139.

Штелин Я. Записки // Екатерина. Путь к власти. М., 2003. С. 38.

140.

Шумахер А. Указ. соч. С. 274.

141.

Ассебург А.Ф. Записки о воцарении Екатерины II // Екатерина. Путь к власти. М., 2003. С. 294.

142.

Екатерина II. Анекдоты об этом событии // Со шпагой и факелом. М., 1991. С. 347.

143.

Штелин Я. Указ. соч. С. 40.

144.

Соловьев С.М. Сочинения. Т. 25. М., 1994. С. 10.

145.

Тургенев А.И. Российский двор в XVIII в. СПб., 2005. С. 206–207.

146.

Екатерина II. Сочинения. М., 1990. С. 466–468.

147.

Бройтман Л.И. Указ. соч. С. 185.

148.

Записки княгини Е.Р. Дашковой. Лондон, 1859. С. 32.

149.

Дашкова Е.Р. Указ. соч. С. 24.

150.

Штелин Я. Указ. соч. С. 44–45.

151.

Дашкова Е.Р. Указ. соч. С. 27.

152.

Записки княгини Е.Р. Дашковой. Лондон, 1859. С. 36–37.

153.

Архив князя Воронцова. Кн. V. Ч. I. М., 1872. С. 172.

154.

Записки княгини Е.Р. Дашковой. Лондон, 1859. С. 36–37.

155.

Дашкова Е.Р. Указ. соч. С. 27.

156.

Екатерина II. Сочинения. М., 1990. С. 463.

157.

Дашкова Е.Р. Указ. соч. Л., 1985. С. 30.

158.

Записки княгини Е.Р. Дашковой. Лондон, 1859. С. 36–37.

159.

Записки княгини Е.Р. Дашковой. Россия XVIII столетия в изданиях Вольной русской типографии А.И. Герцена и Н.П. Огарева. Лондон, 1859. С. 20.

160.

Письмо к мистрис Гамильтон // Е.Р. Дашкова. О смысле слова «воспитание». Сочинения, письма, документы. СПб., 2001. С. 260–262.

161.

Сомов В.А. Книга о Екатерине II из библиотеки Е.Р. Дашковой // Книжные сокровища. К 275-летию Библиотеки АН СССР. Л., 1990. С. 149.

162.

Письма Марты Вильмот // Е.Р. Дашкова. Записки. Письма сестер Вильмот из России. М., 1987. С. 229.

163.

Записки княгини Е.Р. Дашковой. Лондон, 1859. С. 53.

164.

Рюльер К.К. История и анекдоты революции в России в 1762 г. // Екатерина II и ее окружение. М., 1996. С. 73.

165.

Дашкова Е.Р. Записки 1743–1810. Л., 1985. С. 27–28.

166.

Письма императрицы Екатерины II // Записки княгини Е.Р. Дашковой. Россия XVIII столетия в изданиях Вольной русской типографии А.И. Герцена и Н.П. Огарева. Лондон, 1859. С. 304.

167.

Дашкова Е.Р. Записки 1743–1810. Л., 1985. С. 51–52.

168.

Записки княгини Е.Р. Дашковой. Лондон, 1859. С. 68.

169.

Мадариага И. де. Россия в эпоху Екатерины Великой. М., 2002. С. 67–68.

170.

Сб. РИО. СПб., 1871. Т. 7. С. 108–110.

171.

Дидро Д. Характеристика княгини Дашковой // Записки княгини Е.Р. Дашковой. Россия XVIII столетия в изданиях Вольной русской типографии А.И. Герцена и Н.П. Огарева. Лондон, 1859. С. 376.

172.

Черкасов П.П. Двуглавый орел и королевские лилии. М., 1995. С. 257.

173.

Плугин В.А. Алехан, или человек со шрамом. М., 1996. С. 54.

174.

Донесения прусского посланника Гольца Фридриху II о восшествии на престол Екатерины Великой // Екатерина. Путь к власти. М., 2003. С. 259.

175.

Дашкова Е.Р. Указ. соч. С. 47.

176.

Безобразов П.В. О сношениях России с Францией. М., 1892. С. 264.

177.

Там же. С. 265.

178.

Безобразов П.В. Указ. соч. С. 265.

179.

Кобеко Д.Ф. Екатерина II и Даламбер // Исторический вестник, 1884. № 4. С. 107–126.

180.

Рюльер К.К. Указ. соч. С. 72.

181.

Дашкова Е.Р. Указ. соч. С. 30–31.

182.

Рюльер К.К. Указ. соч. С. 72.

183.

Строев А.Ф. Авантюристы просвещения. М., 1998. С. 315.

184.

Соловьев С.М. Сочинения. Т. 25. М., 1994. С. 85.

185.

Письма императрицы Екатерины II // Записки княгини Е.Р. Дашковой. Лондон, 1859. С. 306–307.

186.

Бильбасов В.А. История Екатерины II. СПб., 1890. Т. II. С. 8.

187.

Записки княгини Е.Р. Дашковой. Лондон, 1859. С. 31, 41.

188.

Донесения прусского посланника Гольца Фридриху II о восшествии на престол Екатерины Великой // Екатерина. Путь к власти. М., 2003. С. 236.

189.

Понятовский С.А. Мемуары. М., 1995. С. 167.

190.

Письма императрицы Екатерины II // Записки княгини Е.Р. Дашковой. Лондон, 1859. С. 306.

191.

Там же. С. 302.

192.

Дашкова Е.Р. Указ. соч. С. 32.

193.

Воронцов-Дашков А.И. Московская библиотека княгини Е.Р. Дашковой // Екатерина Романовна Дашкова. Исследования и материалы. СПб., 1996. С. 137–138.

194.

Кросс А.Г. Британские отзывы о Е.Р. Дашковой // Е.Р. Дашкова. Исследования и материалы. СПб., 1996. С. 28.

195.

Записки княгини Е.Р. Дашковой. Лондон, 1859. С. 48.

196.

Бройтман Л.И. Петербургские адреса Е.Р. Дашковой // Екатерина Романовна Дашкова. Исследования и материалы. СПб., 1996. С. 189.

197.

Письма императрицы Екатерины II // Записки княгини Е.Р. Дашковой. Лондон, 1859. С. 311.

198.

Понятовский С.А. Указ. соч. С. 167.

199.

Записки княгини Е.Р. Дашковой. Лондон, 1859. С. 40.

200.

Дашкова Е.Р. Указ. соч. С. 25.

201.

Записки княгини Е.Р. Дашковой. Лондон, 1859. С. 35.

202.

Бекингемшир Д.Г. Первый год правления Екатерины II // Екатерина II и ее окружение. М., 1996. С. 122–123.

203.

Дашкова Е.Р. Указ. соч. С. 35.

204.

Ассебург А.Ф. Записки о воцарении Екатерины II // Екатерина. Путь к власти. М., 2003. С. 294.

205.

Соловьев С.М. Указ. соч. С. 83.

206.

Дашкова Е.Р. Указ. соч. С. 36.

207.

Екатерина II. Анекдоты об этом событии // Со шпагой и факелом. М., 1991. С. 337.

208.

Понятовский С. А. Указ. соч. С. 162.

209.

Екатерина II. Записки княгине Е.Р. Дашковой // Записки княгине Е.Р. Дашковой. М., 1990. С. 310.

210.

Там же. С. 31.

211.

Мордовцев Д.Л. Русские женщины нового времени. СПб., 1874. Т. II. С. 129.

212.

Письма императрицы Екатерины II // Записки княгини Е.Р. Дашковой. Лондон, 1859. С. 306.

213.

Веселая Г.А. Фирсова Е.Н. Москва в судьбе княгини Дашковой. М., 2002. С. 43.

214.

Письма Петра III к Фридриху II // Екатерина. Путь к власти. М., 2003. С. 209.

215.

Архив князя Воронцова. Кн. V. Ч. I. М., 1872. С. 145.

216.

Дашкова Е.Р. Указ соч. С. 35.

217.

Письма Петра III к Фридриху II // Екатерина. Путь к власти. М., 2003. С. 212.

218.

Дашкова Е.Р. Указ соч. С. 28.

219.

Записки княгини Е.Р. Дашковой. Лондон, 1859. С. 28.

220.

Отдельные заметки Екатерины II о событиях 1762 г. // Екатерина. Путь к власти. М., 2003. С. 288.

221.

Дашкова Е.Р. Указ соч. С. 35.

222.

Дидро Д. Характеристика княгини Дашковой // Записки княгини Е.Р. Дашковой. Лондон, 1859. С. 373.

223.

Дашкова Е.Р. Указ соч. С. 39–40.

224.

Дашкова Е.Р. Указ соч. С. 29.

225.

Екатерина II. Записки княгине Е.Р. Дашковой // Записки княгине Е.Р. Дашковой. М., 1990. С. 310.

226.

Брикнер А.Г. История Екатерины Второй. СПб., 1885. Т. I. С. 158.

227.

Шумахер А. История низложения и гибели Петра III. // Со шпагой и факелом. 1725–1825. Дворцовые перевороты в России. М., 1991. С. 276–277.

228.

Рюльер К.К. Указ. соч. С. 75.

229.

Бекингемшир Д.Г. Первый год правления Екатерины II // Екатерина II и ее окружение. М., 1996. С. 123.

230.

Рюльер К.К. Указ. соч. С. 73.

231.

Отдельные заметки Екатерины II о событиях 1762 г. // Екатерина. Путь к власти. М., 2003. С. 288.

232.

Кросс А.Г. Указ. соч. С. 26.

233.

Отдельные заметки Екатерины II о событиях 1762 г. // Екатерина. Путь к власти. М., 2003. С. 288.

234.

Письма Марты Вильмот // Е.Р. Дашкова. Записки. Письма сестер М. и К. Вильмот из России. М., 1987. С. 231, 293.

235.

Ростопчинские письма. 1793— 814 // Русский архив. 1887. № 2. С. 175.

236.

Дашкова Е.Р. Указ соч. С. 39, 29.

237.

Финкенштейн К.В.Ф. фон. Общий отчет о русском дворе // Лиштенау Ф.-Д. Россия входит в Европу. М., 2000. С. 295–296.

238.

Болотов А.Т. Записки. Т. II. СПб., 1871. С. 179.

239.

Дашкова Е.Р. Указ соч. С. 39.

240.

Там же. С. 80.

241.

Ростопчинские письма. 1793–1814 // Русский архив. 1887. № 2. С. 175.

242.

Екатерина II. Письма княгине Дашковой // Записки княгини Е.Р. Дашковой. М., 1990. С. 310.

243.

Исторические песни. Баллады. М., 1986. С. 417.

244.

Веселая Г.А. Фирсова Е.Н. Указ. соч. С. 45.

245.

Екатерина II. Анекдоты об этом событии // Со шпагой и факелом. М., 1991. С. 336.

246.

Русский архив. 1878. № 2. С. 288.

247.

Дашкова Е.Р. Указ соч. С. 29.

248.

Понятовский С.А. Указ. соч. С. 163.

249.

Штелин Я. Записки // Екатерина. Путь к власти. М., 2003. С. 55.

250.

Дашкова Е.Р. Указ соч. С. 34.

251.

Понятовский С.А. Указ. соч. С. 167.

252.

Дополнение к запискам Дашковой. Рассказ издательницы // Записки княгини Е.Р. Дашковой. Лондон, 1859. С. 406.

253.

Ростопчинские письма. 1793–1814 // Русский архив. 1887. № 2. С. 175.

254.

Дидро Д. Характеристика княгини Дашковой // Записки княгини Е.Р. Дашковой. Россия XVIII столетия в изданиях Вольной русской типографии А.И. Герцена и Н.П. Огарева. Лондон, 1859. С. 376.

255.

Дашкова Е.Р. Записки 1743–1810. Л., 1985. С. 40.

256.

Записки княгини Е.Р. Дашковой. Россия XVIII столетия в изданиях Вольной русской типографии А.И. Герцена и Н.П. Огарева. Лондон, 1859. С. 53.

257.

Дашкова Е.Р. Письмо к графу Г. Кейзерлингу о восшествии на престол Екатерины Великой // Русский архив, 1887. Кн. 3. № 10. С. 191.

258.

Лопатин В.С. Когда княгиня Е.Р. Дашкова узнала об аресте капитана П. Б. Пассека // Е.Р. Дашкова и ее современники. М., 2002. С. 40.

259.

Воронцов-Дашков А. И. Екатерина Дашкова: жизнь во власти и в опале. М., 2010. С. 62.

260.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 42.

261.

Рюльер К.К. История и анекдоты революции в России в 1762 г. // Екатерина II и ее окружение. М., 1996. С. 77.

262.

Записки княгини Е.Р. Дашковой. М., 1990. С. 56.

263.

Ассебург А.Ф. Записка о воцарении Екатерины II // Екатерина. Путь к власти. М., 2003. С. 295.

264.

Екатерина II. Из записок о перевороте 1762 года // Со шпагой и факелом. 1725–1825. Дворцовые перевороты в России. М., 1991. С. 337.

265.

Плугин В. А. Алехан, или человек со шрамом. М., 1996. С. 70–76.

266.

Понятовский С.А. Мемуары. М., 1995. С. 163.

267.

Воронцов С.Р. Автобиография // Русский архив. 1876. Кн. 1. № 1. С. 34–38.

268.

Понятовский С.А. Указ. соч. С. 163.

269.

Воронцов-Дашков А.И. Указ. соч. М., 2010. С. 65.

270.

Дашкова Е.Р. Записки 1743–1810. Л., 1985. С. 43.

271.

Записки княгини Е.Р. Дашковой. М., 1990. С. 58–59.

272.

Веселая Г.А. Фирсова Е.Н. Москва в судьбе княгини Дашковой М., 2002. С. 101.

273.

Бутурлин М.Д. Княгиня Е.Р. Дашкова // Русская старина. 1877. № 18. С. 575.

274.

Записки княгини Е.Р. Дашковой. М., 1990. С. 58–59.

275.

Шумахер А. История низложения и гибели Петра III. // Со шпагой и факелом. 1725–1825. Дворцовые перевороты в России. М., 1991. С. 281.

276.

Рюльер К.К. Указ. соч. С. 83.

277.

Штелин Я. Записки // Екатерина. Путь к власти. М., 2003. С. 42.

278.

Там же.

279.

Дашкова Е.Р. Записки 1743–1810. Л., 1985. С. 45.

280.

Записки княгини Е.Р. Дашковой. М., 1990. С. 59.

281.

Рюльер К.К. Указ. соч. С. 86.

282.

Екатерина II. Записки // Со шпагой и факелом. 1725–1825. Дворцовые перевороты в России. М., 1991. С. 336.

283.

Дашкова Е.Р. Записки 1743–1810. Л., 1985. С. 45.

284.

Герцен А. И. Княгиня Е.Р. Дашкова // А.И. Герцен. Собрание сочинений. Т. 12. М., 1957. С. 394.

285.

Екатерина II. Продолжение анекдотов // Со шпагой и факелом. 1725–1725. Дворцовые перевороты в России. М., 1991. С. 344–345.

286.

Дашкова Е.Р. Записки 1743–1810. Л., 1985. С. 48.

287.

Понятовский С. А. Указ. соч. С. 166.

288.

Дашкова Е.Р. Записки 1743–1810. Л., 1985. С. 48.

289.

Дашкова Е.Р. Письмо к графу Г. Кейзерлингу о восшествии на престол Екатерины Великой // Русский архив. 1887. Кн. 3. № 10. С. 191.

290.

Дашкова Е.Р. Записки 1743–1810. Л., 1985. С. 47.

291.

Дидро Д. Характеристика княгини Дашковой // Записки княгини Е.Р. Дашковой. Лондон, 1859. С. 374.

292.

Дашкова Е.Р. Записки 1743–1810. Л., 1985. С. 48.

293.

Там же.

294.

Там же.

295.

Екатерина II. Продолжение анекдотов // Со шпагой и факелом. 1725–1825. Дворцовые перевороты в России. М., 1991. С. 342.

296.

Рюльер К.К. Указ. соч. С. 97–98.

297.

Дашкова Е.Р. Записки 1743–1810. Л., 1985. С. 51.

298.

Понятовский С.А. Указ. соч. М., 1995. С. 166.